

## Владислав БАХРЕВСКИЙ

г. Москва

### БЕЛЁВСКИЕ МАРКИТАНТЫ

Уездные русские города как цветы на лугах. Красота их природная, божья, не напоказ. Цветы цветут, чтобы жить. У людей то же. Красота — хлеб души.

Белёв на горах — как на облаках, но в куполах его, хоть все подняты высоко, нет гордыни человеческой. Белёвские купола будто огоньки свечей.

На всяком малом русском городе история копной сена на возу. Ни телеги не видно, ни лошади, ни возницы. Был Белёв уделом черниговских князей, был Литвой и даже вотчиной беглого хана ордынского Улу-Ахмета, основателя Казанского царства. Дарили Белёв другому основателю — Запорожской Сечи — князю Вишневецкому. А как перестали ходить волны человеческих бурь по русской земле — божией милостью забыли о Белёве добытчики царств и вечной славы. Тут и установилась жизнь. Уездную мудрую жизнь доморожденные пророки — потатчики русских несчастий — называли и поныне ругают мешанской. Господи, да не исчезнет в России Россия!

Как земля, имеющая в сердце своем великий огонь, хранит о нем непроницаемое молчание, так и народ русский.

Мы — окаменелая гроза. Без кресала искры не высечешь.

И вот она, краткая история одной искры, от которой возжена романтическая русская литература и пожалуй что и сам русский литературный язык. Но сначала о кресале, о вековом и главном промысле жителей Белёва.

Один наш современник, почитавший себя громовержцем Парнаса, древний промысел маркигантства представил как племенное занятие иудеев. Народы, дескать, бьются насмерть, а маркиданты и с той стороны, и с этой — люди одного помета и одних интересов: нажиться на чужой крови.

Когда страну разоряют на глазах, в любом толке чудится истина. Но быстрых разумом Невтонов русская земля рождала со времен царя Трояна, а должно быть, и ранее того.

Раньше ли, может, и совсем уже поздно, в турецкие войны, белёвские мужики нашли для



себя промысел небезопасный, а пожалуй что и весьма опасный, да ведь прибыльный: войну кормить, поить, табачком баловать. Барабанщики в барабаны — белёвские мужики колеса легтем мазать. Загрузили фуры и поехали. Дорогу маркитантам вороны указывают.

Наш рассказ о временах, когда на Днестре, на Дунае фельдмаршал Румянцев с генералами Потемкиным да Репниным добывали России Черное море и Тавриду. Далеко до Днестра, до Дуная еще дальше, но белёвские носы учуяли запах пороха.

Вот и пал в ножки господину своему, надворному советнику Афанасию Ивановичу Бунину, крепостной его человек крестьянин Силантий Громов:

— Отпусти, батюшка, раба своего с фурой.

Афанасий Иванович — человек в Белёве именитый, градоначальник, предводитель дворянства. Однако ж величаться перед мужиками почитал унизительным. Да и сердцем был в батюшку, в Ивана Андреевича. Такой же податливый до добрых дел. Людей своих Афанасий Иванович знал и любил.

Силантий мужик расторопный, но невезучий: баба ему одних девок рождает, разбогатеть мужицким горбом надежды нет. Однако ж, слава богу, желает богатства дому своему, стало быть, и барину.

— Оброк, батюшка, уплачу, как ваша милость укажет, — поспешил прибавить Силантий.

Афанасий Иванович бровкою не шевельнул: куда, мол, денешься, но очи-то свои ясные, вельможные, поприщурил вдруг:

— Вот что, Силантий. Далекую дорогу избрал ты счастья своего поискать. Ну так и о барине не забудь. Привези-ка ты мне, Силантий, турчаночку младую. В гаремах ихних пошукай, чтоб всем приятелям моим была на зависть: вот и весь твой оброк.

Маркитантский промысел да барское вождение отведают страстей и сластей таинственного Востока — таково тесто для пирога русского романтизма.

## РАБЫНИ

В пылающих Бендерах стореда прежняя жизнь турчанки Салихи — все ее шестнадцать весен. Была ли она женою — одной из четырех — бендерского паши или всего лишь наложницей — о том забыто. Афанасия Ивановича распаяло другое: его рабыня — истинная насельница гарема!

Красавицу турчанку Силантий Громов выискивал среди одиннадцати тысяч пленных, взятых в Бендерах. Женщины тоже причислялись к пленным. Салиха и сестра ее Фатима достались бывшему сослуживцу Афанасия Ивановича майору Муфелю. Посылая турчанок в Белёв с маркитантом Силантием, Муфель выправил для них бумагу на проезд. В бумаге говорилось: пленные Сальха и Фатьма отданы надворному советнику Бунину, градоначальнику Белёва, на воспитание и, по изучению русского языка, приведение в православную греческую веру.

Эту бумагу Афанасий Иванович положил пред очи супруги Марии Григорьевны.

— Что за блажь нашла на майн херца Муфеля! Совсем обасурманились, на турок глядя! Рабынь в подарок прислал! Ладно бы смокв или вина бочонок — рабынь! — Афанасий Иванович ужасно горячился, сдвигал к переносице брови, пот со лба, о платке позабыв, отирал ладонью. — Завтра же отправлю подарочек обратно!

— Больно дорого станет! — глаза Марии Григорьевны глядели прямохонько в душу Афанасия Ивановича: лукавит батюшка, ишь, распыхался. Вздохнула, перекрестилась. — Знать, Господь так судил: потрудимся во имя Его. Пусть на две православные души станет больше. Ну, как они, бедняжки?

Домоправительница Василиса бегала во флигелек поглядеть тайком на турчанок.

— На полу сидят. Ножки калачиком.

— Вестимо на полу. Татарского рода. Ты вот что, — распорядилась Мария Григорьевна, — прикажи ковер постлать да подай им пирогов, каши гречневой с бараниной, — смотри, свинина для них хуже отравы — и кофию не забудь.

— Дорога у них была дальняя. Не завелись ли вошки, — предположила Василиса.

— Чем гадать — баню истопи.

— Ну, коли без меня все устраивается, — решил Афанасий Иванович, — я пошел к делам.

Шмыгнул в кабинет, облачился в турецкий шелковый халат, запалил кальян и возлег на персидском диване. Все это было батюшкино. Иван Андреевич тоже имел к Востоку душевную тягу.

Старшую из турчанок Афанасий Иванович видел мгновение, но разглядеть успел. Турчанки сидели в фуре, ожидая участи.

Силантий-плут кланялся, состроив виноватую рожу:

— Вместо одной две, батюшка! Сестры. Сестер приказано не разлучать.

На турчанках черные покрывала, Афанасий Иванович поднял паранджу на старшей. Смуглое, нежное! Ласковые губы, брови сросшиеся, но уж такие аккуратные. И глаза! Боже мой, глаза! Черным огнем полыхнули и скрылись за стрелами ресниц.

— Бей-эфенди! — поклонилась, поняла: перед нею господин.

«Бей-эфенди!» — пело в Афанасии Ивановиче тончайшее из наслаждений.

Слышал: турки падают в обморок, когда возлюбленная с балкона показывает избраннику всего лишь — пальчик.

Ах, эта бархатная смуглость, эта беззащитная нежность. И совершенство!

Афанасий Иванович, потягивая кальян, смотрел на портреты панов Буниевских. Самый старший в железной шапке, в латах, трое в жупанах с оселедцами.

— Да, господа! Вы меня понимаете.

И пытался сообразить, как бы навеститься во флигелек — мимо Марьи Григорьевны, мимо Василисы, мимо стоглазой, стоустой дворни...

А за обедом Афанасий Иванович узнал: Марья Григорьевна определила турчанок в няньки Вареньке и Катеньке. Вареньке шел третий годок, а Катенька еще ручки из пеленок не умела вытащить.

## ДИТЯ БАРСКОГО ГРЕХА

Салиха — по-русски. Русский язык ленив правильно выговаривать иноземные слова. Салиха и Фатима превратились в Сальху и

Фатьму. Салиха значит «праведная». Православному человеку не понять, как можно быть праведницей — в гареме. Но потому и сказано: не судите! В гаремах жизнь строжайшая. Иная жизнь, нежели в избе, где кучились и по три, и по пять семейств. Иная жизнь, иные заповеди.

На Востоке есть возлюбленные, но нет мужей. На Востоке муж — господин жизни женщины. Люби, коли любится. Терпи, если господин хуже горя. Главное, помни: талисман благополучия — в послушании.

Аллах не отдал Фатиму русскому Богу, простудилась, проболела неделю и ушла в кущи рая. Не стало и Сальхи. Пленницу крестили. Явилась миру Елисавета Дементьевна Турчанинова. Восприемниками новокрещенной пожела-ли быть сама Мария Григорьевна и дворянин, православный поляк Дементий Голембовский, знаток псовой охоты.

Войне с турками пришёл конец. Замирились, разменялись пленными, но все турецкие женщины остались в России. Госпожа Турчанинова получила гербовую бумагу с титулой: «К свободному в России жительству».

Салиха, может, и тосковала по сладкому дыму сухой виноградной лозы, по пресным лепешкам, по густому аромату цвета из его лоха, по розовой кипени миндаля, по зовам муэдзинов и необъятной синеве родного неба. Но грех ей было жаловаться на новую жизнь.

Усадьба Буниных стояла на холме над просторами пойменных лугов Большой Выры. С этих лугов усадьба смотрелась крепостью. Две башни со шпилями, деревянная стена забора, высокий дом о восьми окон в ряд. Массивная, на польский лад, крыша — ровень с башнями. На краю холма — деревянная церковь. Весною холм пламенеет холодным огнем сирени. И все это — усадьба, зеленый дым ветел, сирень, яблоневые сады, оранжереи — все это поднято над землю любовью соловьиных восторгов.

Усадьба была построена возле родового имения Буниных, село Мишенское, в трех верстах от Белёва по Волоховской дороге. Коли град Белёв был продолжением природы, то усадьба и подавно.

Жила Елисавета Дементьевна во флигеле. Стол имела сытный, вкусный. Русскому язы-

ку, чтению, письму ее учили старшие дочери Афанасия Ивановича и Марии Григорьевны — Авдотья и Наталья. Им в год приезда Сальхи было шестнадцать и четырнадцать лет.

Языку Елисавета Дементьевна научилась быстро, говорила чисто, слов не корежила: слух имела отменный, а грамоту не осилила. Иное дело — счет: соображала быстро. Русскую меру поняла: пуды, фунты, золотники, сажени, аршины, вершки, ведра, четверти, кринки...

Ключница Василиса хозяйственный дар Сальхи заметила и взяла себе в помощницы. А как старая стала, сама передала ей ключи, и Мария Григорьевна на такую замену была согласна.

Но тут-то и случился грех.

Мария Григорьевна родила Афанасию Ивановичу одиннадцать детей. Выжили пятеро: Авдотья, Наталья, Варвара, Екатерина и сын Иван. Ивану было восемь лет, когда в Мишенское привезли турчанок. Супругу свою Афанасий Иванович звал «барыня» и, должно быть, побаивался. Во флигелек навывался под покровом ночи, озираючись и затаиваясь. Мария Григорьевна шалости «бея-эфенди» терпела. Лишать девственности юных крестьяночек — привилегия крепостников несокрушимая, а тут гурия из гарема: хоть привяжи — сбежит.

«Барыня» резонно полагала: Кот Котофевич откушает заморской сметанки и угомонится. Не тут-то было! Пришлось терпением запастись надолго.

А жизнь шла себе. Выдали замуж Авдотью Афанасьевну. Супруг ее дворянин Алымов служил начальником таможи в Кяхте. Велика матушка Россия, далеко до Кяхты, и, чтобы не тосковать по дому, Авдотья взяла с собою младшенькую Екатерину. Вот и убыль в доме. Красавица Наталья тоже в девках не засиделась. Нашла счастье в Туле, из Буниной стала Вельяминовой. Иван уехал в Лейпциг, в университет.

Тут-то Афанасий Иванович и расхрабрился. Превратил избу турчанки в покои Шахерезады и сам пристроился в жители старой сказки.

Елисавета Дементьевна хоть и носила крест, но в душе оставалась Сальхой. Коли господин избрал тебя женою для любви, радуйся и будь покорна байбиче: старшая жена — хозяйка до-

ма. Увы! Мария Григорьевна турецким порядкам была не учена. Распорядилась не пускать Сальху на порог барских покоев, а Вареньке указала с любимой ее нянюшкой не токмо не здороваться, но видя не видеть, слыша не слышать. Занозистая пошла жизнь в благополучном Мишенском.

Елисавета Дементьевна трижды приносила деток Афанасию Ивановичу, все девочек, и всех в младенчестве Бог прибрал.

В 1781 году вернулся в родное гнездо Иван Афанасьевич. В голове — Гегель, в сердце — Вертер. Любовью пылал к девице Лутовиновой, но кто они, Лутовиновы, когда у батюшки давний сговор с графом Григорием Григорьевичем Орловым, с генерал-аншефом, с самой историей Государства Российского, не говоря о многих тысячах душ приданого.

Афанасий Иванович в решении своем был тверд, и влюбленное сердце Ивана, выученика немцев, пыхнуло свечой и погасло. Говорили, «жила лопнула».

От одного горя не очнулись — новая страшная беда. Умерла в родах Наталья, дочку ее, младенца Аннушку, а с нею старших сестриц Машу и Дуню привезли к бабушке в утешенье.

Два года в Мишенском не замечали, зима ли на дворе, лето ли... Но в 1783 году, 29 января, в день Игнатия Богоносца, а также чтеца Мокия-мученика, Елисавета Дементьевна родила сына.

Афанасий Иванович был в Москве. Сбежал от белёвской провинции, от мишенских несчастий. В Москве он имел на Пречистенке свой дом, богатый даже по московским меркам, с большим садом, с оранжереей. Родить сына в пятьдесят семь лет — геройство не ахти какое, однако ж приятели бокалы поднимали с почтением: молодец! Но тотчас сочувствовали: сын незаконнорожденный, стало быть, без родового имени и даже без отчества.

Афанасий Иванович примчался в Мишенское. Нужно было избавить младенца от подлого звания: сын суки.

В церковно-приходской книге священник записал: «Вотчины надворного советника Афанасия Ивановича Бунина у дворовой вдовы Елисаветы Дементьевны родился незаконнорожденный сын Василий». Новорожденный,

однако ж, избавлен был от позорного звания сучонка: в крестные отцы и в усыновители новорожденному был избран Андрей Григорьевич Жуковский, старый друг Афанасия Ивановича, любитель поиграть на скрипке.

Андрей Григорьевич был киевский помещик, но достаток имел самый скудный, жил с супругой, Ольгой Яковлевной, на харчах друга, во флигеле. Быть восприемником, дать сыну благодетеля фамилию и отчество Жуковский счел за Божию награду.

Нашлась и крестная мать. Варе Буниной шел пятнадцатый год. Заливаясь слезами, упала в ножки маменьке, прося позволения быть восприемницей нового жителя ковровых покоев Шахерезады.

Птахой выпорхнул из груди Марьи Григорьевны многолетний гнев на рабыню свою, выпорхнул и рассыпался в прах. Дочерние слезы смыли пепел обид. Благословила.

Родился 20-го, а 30 января – Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого.

Дали младенцу имя Василий.

Промысел божий. Незаконнорожденный сын третьестепенного барина и рабыни турчанки, рожденный под малым городишком посреди русской земли, униженный меж людьми с первого вздоха, – у Господа стал среди первых: царем поэтов и учителем царей. Один его ученик – император России, будет коронован земным венцом, другой, чья держава – Русское Слово, – незримым нимбом вечной славы.

А покуда в Белёве появился дворянин Василий Андреевич Жуковский.

Первая заповедь новорожденного: не имей сто слуг, имей мудрую мать.

В марте, пока дороги не распустило, Афанасий Иванович укатил в Тулу, и Елисавета Деметьевна, оплакав судьбу, укрепя сердце любовью, явилась вдруг с младенцем пред очи Марии Григорьевны.

Поклонилась, положила драгоценность свою у ног повелительницы и, пятась, отступила к порогу.

– Ишь, ребятишками раскидались! – сдвинула брови «барыня». – Варвара, подними Васеньку да мне подай.

С булькающими в груди слезами кинулась Варенька перед младенцем, подняла, поднесла.

– Губастенький – добрая душа. Смугляночка. Очами синими ты нас не проведешь – быть тебе кареглазым. – Глянула на мать: – Знаю, Лисавета, твоей вины нет. Бери ключи, веди дом по-прежнему. А Васенька отныне мой.

Узнавши, что дома тишь и благодать, Афанасий Иванович прикатил в усадьбу в майское цветение. Возблагодарил Бога за сына и распорядился: церковь разобрать, сложить из бревен часовню на кладбище, а вместо деревянного храма строить каменный, на века.

И тут выяснилось: хозяин Мишенского ездил в Тулу отнюдь не бездельничать. Нашел жениха Варваре Афанасьевне. Не хотелось Вареньке покидать матушку, Васеньку, родное Мишенское. Но что она, воля дочери, против воли отца. У Петра Николаевича Юшкова каменные дома в Туле, в Москве. Красив, богат, какого рожна слезы лить!

О сыне Афанасий Иванович тоже не забыл: записал в Астраханский полк сержантом.

## БЕЛЁВСКИЕ КРУЖЕВА

Собачек тоже ведь любят до безумия, а тут Сласковский толстячок с изумленными, со сверкающими от восторга глазками. Васенька на что ни поглядит – то и чудо.

Возьмет веретено и смотрит, смотрит. Палочка и палочка, а пусти – бегает как живое, нить сотворяет.

– Васенька, – спросит Мария Григорьевна, – что ты усмотрел в этой палочке?

– Победителя зимы.

– Зимы?! – ахнет Мария Григорьевна. – Господи! Так оно и есть. Из шерсти – нить, из нити – варежки.

На Васеньке уморительно милый халат – копия черного бархатного халата Афанасия Ивановича. К Васенькиным черным глазкам. А рубашка к личику – розовая, как утро. Полотна тончайшего.

Запретов в доме для Васеньки не писано. На зависть мастерицам лежит на полу, перекатываясь туда-сюда. Мытый, скребанный споза-

ранок пол светелки хранит спасительную прохладу.

— Летом на полу токмо и житье! — вздыхает Ефросиньюшка, рассыпая веселый треск коклюшек. Ефросиньюшка бабушка бабушек, но личико у нее без морщин, глазки маленькие, веселые. Ее кружево — святая простота, да ведь и красота святая.

Васенька, подкатясь к Ефросиньюшке, смотрит на кружево и шепчет, шепчет. Слов не разобрать, а личико пресерьезное.

Мария Григорьевна, не утерпев, встает, показывает девкам, чтоб передвинули кресло, и тоже принимается разглядывать работу Ефросиньюшки. Белёвские кружева — слава города. В заморских землях по кружевам только и знают: есть, мол, в русских далях Белёв-городок, в том городке у каждой бабы коклюшки от сокровенных мастеров, сами плетут узоры.

— Чудо ты мое, Ефросиньюшка! — качает головою Мария Григорьевна. — Глазки у тебя с копейчку, руки разве что чуток поболее Васенькиных, узор немудрен, нити те же, а кружеву твоему цены нет. Ты-то, Васенька, выглядел Ефросиньюшкину тайну?

Мальчик хмурится.

— Я, бабушка, иное выглядываю.

— Ну-ка, ну-ка!

— Сама говоришь: в нашем кружеве — сердце русское. Вот я и смотрю, где оно, в какой ниточке.

— До чего же ты нежданный, Васенька! — изумляется Мария Григорьевна. — И в седую голову не придет, чего у тебя на уме. Эй, Паранька, изюму принеси! Да кипятком чтоб ошпарили.

Васенька благодарно прикатывается к бабушкиным ногам: изюм да чернослив — любимые лакомства.

— Паранька! — кличет вдогонку барыня. — Полотенце не забудь! Да намочи полотенце-то!

Параньки все нет и нет, и Васенька поглядывает на дверь, надув губки. И — расцветает! Явилась! Вскакивает, бежит навстречу.

Паранька принимается отирать барчонку руки, приговаривая:

— Потерпи еще малешко! Я отбирала изюм-то! Чтоб позолотей, покрупней.

От Параньки пахнет сеном, и Васенька рад по-

терпеть. Но вот глиняная кружка, полнехонькая, у него в руках. Боясь просыпать жданную сладость, он подходит к бабушке и щедро отсыпает ей горсть. Вторая горсть — Ефросиньюшке, а дальше — по порядку. Когда очередь доходит до Параньки, у барчука в глазах сомнение, но он отважно вытряхивает последки в Паранькину пригоршню и недоуменно глядит в кружку. Нижняя губа сама собой прячется под верхнюю, ресницы хлопают, и он поспешно лезет под стол.

Мария Григорьевна перстом указывает Параньке на дверь, та перелетает комнату, и уже через мгновение под стол плывет блюдо с изюмом, черносливом, финиками.

Молчание, сопение, но вот скатерть приподнимается, и бабушке, Параньке, мастерицам сияют благодарные, полные непролившихся слез несравненные Васенькины глаза.

## ШЕСТИЛЕТНИЙ ПРАПОРЩИК

В светелке барчонок — увалень, а на дворе в него вселялся неугомон. Носится как ласточка. Выкрикивает что-то непонятное, но уж такое счастливое. Дуня, Машенька, Аннушка Вельяминовы припускаются за братцем, — на самом деле он им дядюшка — и звон тут, и вихрь, прыжки с крыльца, кувырки с горы, взлеты на гору с криками, с визгами.

Одно останавливало Васеньку. Он даже замирал, когда, пусть даже издали, видел турчанку Сальху — Елисавету Дементьевну, ключницу. Она проходила мимо него в доме, она не видела его во дворе, хотя иной раз была совсем рядом. Она не ласкала его, не окликала и никогда не оглядывалась.

Может, поэтому во всей усадьбе была единственная дверь, перед которой он обмирал. Та дверь вела во флигель, где жила ключница. Ему было стыдно и страшно, но он, не умея пересилить терзающую тягу, прибежал к этой двери, стоял, ждал и, наверное, умер бы, если бы она вдруг отворилась.

Но он не умер, когда в летний зной увидел дверь отворенной. Он подкрался и заглянул в комнату. Елисавета Дементьевна сидела на ковре, по-турецки скрестя ноги. В прекрас-

ной ее руке, в длинных пальцах, как голубой цветок, — пиала.

Елисавета Дементьевна повернула голову, увидела его, и глаза ее вскрикнули. Васенька отпрянул от двери и бросился бежать, и долго стоял среди сиреневых кустов, не желая идти к людям.

Однако ж все пошло по-прежнему, да ведь ничего и не случилось, но Мария Григорьевна углядела-таки Васенькино беспокойствие.

Развлекая, принялась читать ему и внукам поэму немца Христофора Мартина Виланда «Оберон, царь волшебников». Языкам не была научена, читала по-русски, пересказ Василия Лёвшина. С Васеньки тут и сошла задумчивость. Объявил себя рыцарем Гюоном, всем репьям головы поотсекал. Меч ему Андрей Григорьевич из дуба выстругал, а Дементий Голимбиевский подарил старый охотничий рог. Мария Григорьевна тоже в стороне не осталась. Своими руками сшила алый плащ, а из старых сундуков достала треугольную шляпу.

Рыцарские игры Васенька не чаял без Маши Вельяминовой да без Аннушки Юшковой. Обеих внучек Мария Григорьевна держала при себе. Маша — сиротка. Аннушка родилась недоношенной, жизни в ней было как в пузырьке воздуха на луже, врачи помочь не умели, а бабушка не сдалась. В печурке выдержала, выходила, у Бога вымолила. Девочки и были Васиним воинством.

Однажды сгоряча забежали с Машей в заросли крапивы — и хоть на помощь зови.

— Я тебя спасу! — сказал Вася и проломил в крапиве тропу, сам острекался, а сестрицу уберег.

— Хочешь, тайну тебе открою? — страшным шепотом спросила Маша.

У Васи пылали руки и ноги, но страданий он не выказывал.

— Хочу.

— У меня мамы нет, и у тебя нет. Когда мы вырастем, ты будешь папа, а я — мама.

Маша наклонилась и поцеловала Васеньку в обе щечки.

Васенька снова загрустил.

— Уж такой уродился, — говорила о нем Мария Григорьевна. — То удержу не знает — юла, а то не растормошишь.

И впрямь. Был море-океан, стал озерцо тихое. Игры с девочками оставил, прилепился к Андрею Григорьевичу, крестному.

Были они, что старый, что малый, — молчальники. Уединятся на пригорке, под зарослями сирени. Сидят, молчат. Перед ними луга, село Фатьяново, Васькова гора. Андрей Григорьевич повздыхает, возьмет из футляра скрипку — и пошел пожививать смычком по струнам.

Окутает Васино сердечко золотом звуков да и пустит росток в небеса, под облако, и выше, выше, в синеву и до самого, должно быть, солнца. Вася голову подопрет кулачком, смотрит, смотрит. На клубящийся поток серебристых ив вдоль Семьюнки, на древние ветлы по берегам Выры, на изумрудную благодать влажного, теплого травяного царства.

— До слезы? — спросит Андрей Григорьевич.

— До слезы, — признается крестник.

— Ах, Вася, до слезы! Соловьи и скрипка — ничего лучше нет.

— А коростель?! — удивится Вася.

— Скрип-то?

— Се — голос лугов.

— Голос лугов, говоришь? — призадумается Андрей Григорьевич. — Доброе у тебя сердце, Вася. Такое сердце каждого, кого встретишь в жизни, обогреет и посветит каждому. Добро неиссякаемо, как солнце. Добро и есть дитя солнца.

Хорошо жилось барчонку в Мишенском, да ведь всё до поры. Вольная жизнь кончилась в самый разгар летнего счастья.

Сначала пришла бумага от тульского губернатора: сержант Астраханского полка Василий Андреевич Жуковский произведен в прапорщики.

Следом за письмом приехал Афанасий Иванович, привез из Москвы учителя-немца. Прапорщику было шесть лет, а грамоты не знал. Еким Иванович должен был научить барчонка чтению по-немецки и арифметике.

Школу устроили во флигельке, где жил Андрей Григорьевич. Его комнаты были в одной половине, а через сени — жилище педагога и класс.

Первый урок крестника Андрей Григорьевич просидел на крыльце, радуясь за Васю: до наук дело дошло! И что такое? Учитель заорал, затопал ногами, ученик заплакал.

Андрей Григорьевич поспешил уйти подальше от дома: гранит наук — он и есть гранит. Афанасий Иванович потакать Васиным горестям запретил: ученье без розги — пустая трата времени.

На другой день снова слезы, снова немецкий лай.

На третий на учебу Вася шел будто на казнь, глядя под ноги, почитая всех родных людей предателями.

Не прошло десяти минут с начала урока — бешеная ругань, детский вопль и потом тихое, безнадежное подвыванье.

— Ольга Яковлевна! Что же делать-то нам? — Андрей Григорьевич за голову схватился. — Войти к ним, поглядеть?

— Погляди! — у Ольги Яковлевны глаза тоже были на мокром месте.

Распахнул Андрей Григорьевич запретную дверь — боже ты мой! Вася в углу коленями на горохе, а учитель ищет в чане с водой розгу погибче.

Андрей Григорьевич — к барыне. Барыня подхватила — и во флигелек. Васю — на руки, немца — кулаком по роже:

— Высечь мерзавца, и пусть катится на все четыре стороны.

Немца, на радость дворне, высекли розгами, приготовленными для милого Васеньки, но деньги заплатили и даже дали лошадей до Тулы.

И вот она — свобода! Корневище древней ветлы удобнее дивана. Зеленый луг до горизонта, но тянет, тянет к себе дубрава на Васьковой горе. Васька — разбойник. У него есть еще одно имя — Кудеяр. Смельчаки ищут на Васьковой горе Кудеяров клад. Клад не простой, проклятый, откроется тому, кто знает вешее слово. Васенька не о кладе мечтает, ему бы вешее слово. Ради сей тайны пристрастился книги читать. Русской грамоте научил Андрей Григорьевич. Русских книг у барыни целый шкаф. Васеньку Сумароков очаровал.

*Вижу будущие веки,  
Дух мой в небо восхищен;  
Русских стран играйте реки,  
Дальний океан смущен;  
В трепет приведен он нами,  
В ужас вашими водами.*

Сидя на корневище ветлы, Васенька глядел на бочажки Семьюнки, на Выру, а дальше Ока. Ока на себе корабли носит. Васенька пытался представить все русские реки, струящиеся, и напористо текущие, и мчащиеся без удержу. Коли столько вод соединится в одно — впрямь ведь будут ужасны, ужаснее самого океана.

И очень нравилась Васеньке еще одна строфа из «Дитирамба»:

*Тщетно буря возвеает  
Дерзкий рев из глубины;  
Море новы открывает  
Нам среди валов страны.  
Наступают россы пышно,  
Имя их и тамо слышно.*

Васенька представлял себе пышно наступающих россов: Афанасия Ивановича, Андрея Григорьевича, — белёвского полицмейстера, белёвскую пожарную команду в медных касках.

— Имя их и тамо слышно! — восклицал Васенька с восторгом, и ему казалось, что слова эти он сам сложил одно к другому.

## ОТСТАВКА ПЕРЕД ШКОЛОЙ

В ноябре 1790 года тульский наместник Михаил Никитич Кречетников призвал на службу сердечного своего друга Афанасия Ивановича Бунина. Афанасию Ивановичу исполнилось семьдесят пять лет, но старости ни в костях не чувствовал, ни в крови.

Бунины наняли на три года дом на Киевской, на главной улице Тулы, перевезли мебель и все семейство, не забыли Елисавету Дементьевну и Андрея Григорьевича с Ольгой Яковлевной.

Из Мишенского ехали санным путем. Санный путь как сладкий сон.

А в Туле своя сказка. Крепость с башнями, Триумфальные Екатерининские ворота, генеральские дома.

Дом Буниных тоже был генеральский, принадлежал директору ружейных заводов Жукову.



В первое городское утро Афанасий Иванович пригласил Васю в кабинет. Сам в красном мундире, при орденах.

— Примерь-ка, друг мой! — домашний портной по имени Лука, по прозвищу Выпивоха, держал на плечиках офицерский мундирчик.

Шил на глазок, но ни единого изъяна не сыскал Афанасий Иванович в работе кудесника иглы.

— Отменно, Лука! Скажи Елисавете Деметьевне: отпускаю тебе четверть вина. Но пить по чаре в день.

— По две бы, — поклонился Лука.

— По три! — расщедрился Афанасий Иванович. — Ну, а нам, друг мой Васенька, пора на службу. Ты у генерал-поручика, у Михаила Никитича, младший адъютант. Заодно подадим прошение об отставке. В дворянскую тульскую книгу тебя записали, чего еще нужно? Седьмой год — пора браться за учебу.

В тот же день прапорщик в отставке Василий Андреевич Жуковский был принят в пансион Христофора Филипповича Роде.

И опять пошли печали. Новый воспитанник оказался самым младшим в пансионе, к тому же ребята проучились пять месяцев, наверстывать программу надо по всем предметам.

Афанасий Иванович пригласил для Васи в домашние учителя Феофилакта Гавриловича Покровского, преподавателя Главного народного училища, любимца просвещенной Тулы. Покровский слыл за поэта и мыслителя. Статьи в журналах подписывал не иначе как «Философ горы Алаунской».

Первый урок в доме Буниных Феофилакт Гаврилович дал ученику в присутствии Марии Григорьевны и Варвары Афанасьевны, приехавшей к матушке в гости. Начал с декламации стихов Михаила Никитича Муравьева, наставника цесаревича Александра. Прочитал «Избрание стихотворца»:

*Природа, склонности различные вселяя,  
Одну имеет цель, один в виду успех;  
По своенравию таланты разделяя,  
Путями разными ведет по счастью всех.  
...Я блеском оболещен прославившихся россов,  
На лире пробуждать хвалебный глас учусь*

*И за кормой твоей, отважный Ломоносов,  
Как малая ладья, в свирепый понт несусь.*

Варвару Афанасьевну Юшкову Покровский тотчас очаровал. Явила к чтецу свою высокую милость и Мария Григорьевна — Михаилом Матвеевичем Херасковым пронял:

*Не славь высокую породу,  
Коль нет рассудка, нет наук;  
Какая польза в том народу,  
Что ты мужей великих внук?  
От Рюрика и Ярослава  
Ты можешь род свой произвести,  
Однако то чужая слава,  
Чужие имена и честь.  
...Раскличь, раскличь вздремавшу славу,  
Свои достоинства трубя;  
Когда же то невместно нраву,  
Так все равно, что нет тебя.*

Славу Васеньке кликать было рановато, и учителю с отроком сделалось скучно, едва они остались один на один. Васенька немножко окаменел, учитель же, погруженный в свои заоблачные материи, принял его за безнадёжного тупицу.

Не везло Васеньке с учебой. В пансионе занятия шли с перерывами. В марте 1791 года жестоко простудился Афанасий Иванович и сгорел. Гроб отвезли в родовую усыпальницу. Певчие, руководимые Андреем Григорьевичем Жуковским, пели так, что по барину плакали и мишенские, и фатьяновские дворяне и чиновники Белёва... Хороший был человек.

Возвращаться в Тулу не стали, сначала дороги развезло, а тут и лето.

Поучился Васенька у Роде только осень и зиму. Весной пансион закрылся. Опять перерыв. В августе поступил было в Тульское главное народное училище, да угодил под пристальные взоры Покровского.

Ох, эти учителя! Чем более талантов у наставника, тем печальнее участь воспитуемого. Быть учителем народа, тем более народов, много проще, чем быть учителем ребенка, а отрока и подавно.

Розанов проглядел Пришвина, оставя по себе

ненависть, светочи елецкой гимназии не нашли даровитости в Бунине, Покровский, достигший чина главного наставника в Тульском главном народном училище, чуть ли не первым своим приказом исключил из числа учеников Василия Жуковского: «За неспособность».

Слава богу, дома занятия были постоянными. Читали французские романы, немецкие тоже были в чести.

Незатейливо устраивалась Васенькина жизнь. Незатейливая, но счастливая.

### ЗАВЯЗИ ДРАМ

Весной 1792 года, когда закрылся пансион Роде, из Кяхты в Тулу приехала Екатерина Афанасьевна. На первом же балу ее признали первой красавицей губернии, а губернский предводитель дворянства Андрей Иванович Протасов тотчас и посватался.

В Мишенское на лето прибыли четырьмя семействами: Бунины, Вельяминовы, Юшковы, Протасовы.

Протасов был из белёвских, владел деревенькой Сальково. Погостив у тещи, Андрей Иванович увез супругу к себе. Расстаться с милым Мишенским, по которому тосковала в Кяхте, было грустно, и, скрашивая разлуку с родными, Екатерина Афанасьевна увезла с собой Васеньку.

Все просто, естественно. Никаких тебе пророчеств, но судьба сама загадывает наперед, сама стучится в дверь.

Индюк Покровский, выказывая дамам ученность и дар искусного декламатора, читает над шестилетним Жуковским «Избрание стихотворца». Где же знать педагогу — он приветствует славу русского романтизма.

Забирая Васеньку в Сальково, Екатерина Афанасьевна не ведает, чему быть из ее привязанности к сводному братцу.

Утро. Андрей Иванович уехал с управляющим глядеть поля, и Екатерина Афанасьевна завтракает с Васенькой в беседке. Вокруг цветник, из сада посвисты иволги. Екатерина Афанасьевна любит Васенькой.

Забавный хомячок изросся. Теперь сей мальчик пригоден в пажи хоть для самой Екатерины

Великой. Тонок в талии, плечи держит развернуто. Черные кудри по плечам. Глаза карие, в них ум и радость. Ресницы на половину лица. Брови — дамам смерть — черные, шелковые, самим Господом нарисованные. А над бровями — чело. Свет и высота. Лицо смуглое, но кажется белым. Должно быть, из-за нежности румянца.

— Ты прямо ангел утра! — смеется Екатерина Афанасьевна. — Я исскучалась по русскому лету. Своди меня в мир чудес.

Васенька тотчас вскакивает, подает сводной сестре маленькую, но удивительно сильную руку и бежит.

Екатерине Афанасьевне приходится поспевать за проказником. Бегут с пригорка в травы. Травы высокие, влажные. Загадочные цветы липучки истекают багряным медом. От жаркого запаха кашки кружится голова, а в ребристых крошечных чашах манжетки огромные бриллианты, веющие прохладой. Над кашками бирюзовые стрелочки стрекоз, на цветах изумрудные июньские жуки.

— Васенька! Васенька! Я упаду!

Не внемлет. Они вбегают в березовую рошу и запинаятся на мгновение перед поляной незабудок.

— Это чудо! — соглашается Екатерина Афанасьевна, но вожатый еще крепче сжимает ее руку и, не смея ступить по цветам, ведет краем поляны, между берез, между черноголовых, на высоких ножках, подберезовиков, и — быстрый взгляд, палец к губам: молчи!

Екатерина Афанасьевна не понимает, крутит голову: ах! Среди колосющейся высокой травы живое сокровище: золотое, алое, иссиние-черное.

— Кто это?!

— Фазан.

— Но откуда ты знал о фазанах? Ты в Салькове впервой!

Вася даже не улыбается, и Екатерина Афанасьевна роняет не без испуга:

— Ты необычный мальчик! Ты сам — чудо. Васенька, милый, оставайся таким же добрым, каков ты у нас теперь.

И замирает, глядит испуганно, загадочно. Она уже поняла, что беременна. Она любит то, что в ней, и, помня Наталью, холодеет от ужаса.

А холодеть-то следовало бы Васеньке.

В то утро он спросил Екатерину Афанасьевну о самом для себя мучительном.

— Моя бабушка — Мария Григорьевна, но кто моя мама?

И Екатерина Афанасьевна не смогла ни солгать, ни промолчать.

— Сальха. Елисавета Дементьевна.

— Я знал! Я знал! — закричал Васенька. Хлынувшие слезы потянули его к земле, поставили на колени. — Я — турок!

### ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ

**М**олились Богу, затепливали перед иконами свечи, строили храмы, вознося над Россией кресты, но в сердцах имели язычество. Их раем была Древняя Греция, их вожделем — Древний Рим. О «благородных» речь, о дворянстве.

Мужики сохранили Христа России, лапотники.

Осенью 1792 года Юшковы, отъезжая в Тулу, Васеньку забрали с собой. Учиться. Жизнь в доме Петра Николаевича Юшкова, советника Тульской Казенной палаты, была поставлена по образцам европейским.

Тетушки Варвары Афанасьевны со стороны Буниных азбуки не знали. Матушка, урожденная Безобразова, любительница чтения, обошлась без французского, без немецкого, а дочери — извините! Варвара Афанасьевна по просьбе дирекции составляла репертуар губернскому театру. И не только находила нужное, волнующее публику, но даже разучивала с актерами роли. Трудями Варвары Афанасьевны Тула приобщалась к высокому искусству: «Цинна» Корнеля, «Британик» Расина, «Магомет» Вольтера... Как же без Вольтера? Масон Петр Николаевич Юшков был другом масонов Новикова, Хераскова, Тургенева... А Вольтер все-му тайному заводу то же, что часам стрелки.

Вот и в Туле на сцене римляне, английские королевы, немецкое рыцарство.

Настольная книга у отрока Васеньки — «Житие славных в древности мужей, писанное Плутархом».

Семейное чтение вслух? Август Готли Мейс-

нер «Публий Сципион после сражения при Каннах». Такое чтение не токмо полезно — прямая необходимость для дворянского звания. Россия все время распространяется, России нужны неустойчивые в стремлениях полководцы, несокрушимого духа воины.

В доме ждали приезда Марии Григорьевны с неразлучной Елисаветой Дементьевной. Девочки готовили подарки: клеили коробочки для секретов, секреты — приданое куклам, кружева, вышивки.

— Я подарю драму! — объявил Васенька. — В драме Мейснера главный герой Сципион. Спаситель Рима Марк Фурий Камилл лишь упомянут, а это герой героев. Я напишу о Камилле.

И вот гостиная превращена в театр. Спектакль, как и положено, платный. Кресло стоит десять копеек, но за стоячие места денег не берут.

Сочинитель припал к щели в ширме. В самом центре залы бабушка Мария Григорьевна и рядом Елисавета Дементьевна — мама! Петр Николаевич сидит рядом с мамой. Васенька закрывает глаза: «Боже мой!» Ни единого слова в голове, а ведь трагедия писана его рукою, его сердцем. Васенька бросается к окну. На подоконнике — спасительные листы.

Звон колокольчика. Слуга зажигает свечи вдоль рампы. Голос с небес гремит как гром:

— «Камилл, или Освобожденный Рим». Сочинение Василия Андреевича Жуковского.

Пришлось воспользоваться услугами Феофилакта Покровского: у него голос Зевса. Сенаторы в тогах занимают свои места. Старшая из четырех сестер Юшковых Анна — консул Люций, задыхаясь от страха, — это приняли за бурю актерских чувств — начинает монолог.

Ночью великий Рим захвачен варварами, их привел ужасный Бренн. Но слава, слава богам! Капитолий устоял. Священные гуси храма Юноны разбудили римскую кагорту, и враг остановлен.

Сенаторы вынуждены решать два вопроса: первый — о жизни и смерти, второй — о чести и вечном позоре.

Люций Мнестор призывает заплатить дань Бренну. Се путь позора, но жизни, ибо за честь придется заплатить гибелью. Положение безвыходное. Тут-то и является Камилл. Сверкая

золотом картонных доспехов, он объявляет сенаторам, что готов биться с галлами насмерть. Сенаторы в смущении, но Камилл бежит сражаться, сталкиваясь перед ширмой с вестником Лентулом. Лентул — Маша Вельяминова. Она без запиночки объявляет: великий воин и полководец Камилл гонит Бренна вон из Рима. Рим спасен. Снова появляется Камилл и пространно рассказывает о побоище. Закончить монолог ему не дают девицы из прислуги. Они втаскивают на сцену умирающую Олимпию. Олимпия — кровь с молоком, ей семнадцать. Служанки ставят ее на ноги перед Камиллом.

Заломив руки, умирающая вопит на весь дом:  
— Зри во мне Олимпию, ардейскую царицу!  
Жизнь мою я приношу в жертву вечному Риму!

Громадная царица падает на руки героя, и Камилл, будучи меньше убиенной чуть не вдвое, держит ее из последних сил и все-таки роняет.

Зрители рукоплескали, а Васенька смотрел на маму. Мама плакала. Мария Григорьевна утирала ее лицо своим платком и вдруг обняла. Тут они обе расплакались.

Изведавший славы человек пропащий. Васенька в тот же вечер принялся сочинять новую трагедию. Называлась трагедия «Госпожа де ла Тур».

Уже на следующий день пьеса была закончена и представлена на суд. Режиссером вызвалась быть сама Варвара Афанасьевна. Приближая сценическое искусство к жизни, местом постановки она избрала столовую. Первое действие — завтрак. Завтрак так завтрак. Главные герои трагедии сели за стол, и слуги подали им мороженое и огромный торт. Герои-примы начали с мороженого, а труппа не будь дураком тоже кинулась к столу. Трагедия обернулась счастливым пиршеством.

## В ОЖИДАНИИ СЛУЖБЫ

Судьба, судьба... От солдатчины, пусть и в офицерском звании, Жуковского избавил боготворивший вахтпарады Павел I. На службу Василий Андреевич отправился двенадцати лет от роду. Место службы Нарвский полк, где

некогда тянул лямку майор-секунд Афанасий Бунин.

Полк стоял в Кексгольме, повез отрока-офицера друг батюшки майор Дмитрий Гаврилович Постников.

Шел ноябрь 1795 года.

Побывали в осеннем Петербурге, добрались до Кексгольма. Город-крепость стоял на острове. С одной стороны — Ладожское озеро, с другой — река Вокша.

«Милостивая государыня матушка Елисавета Дементьевна! — писал Василий Андреевич в Мишенское. — Здесь я со многими офицерами свел знакомство и много обязан их ласкам. Всякую субботу я смотрю развод, за которым следую в крепость. В прошедшую субботу, шодши таким образом за разводом, на подъемном мосту ветром сорвало с меня шляпу и снесло прямо в воду, потому что крепость окружена водою, однако по дружбе одного из офицеров ее достали. Еще скажу Вам, что я перевозю с немецкого и учусь ружьем».

В январе прапорщику стукнуло тринадцать, а когда тебе тринадцать, военная жизнь — наслаждение. Чего еще желать? На тебе мундир, треуголка, ты при шпаге! Крепость — сама история. Ворота обиты железными шведскими панцирями. В шлоте за десятью дверьми содержится наитайнейший безымянный государственный преступник.

В городе Василий Андреевич видел двух сестер Емельяна Пугачева, двадцать лет отсидевших в шлоте. Кексгольм — их вечное поселение.

А что торжественнее военных праздников?!

Перед новым 1796 годом в крепость приезжал граф Суворов. В честь героя многих славных сражений с бастионов прогремел оружейный салют.

Одна печаль томила прапорщика: бумага о зачислении в полк задерживалась.

Ладога замерзла, растаяла, лед унесло в Неву. Мокрое лето сменилось мокрой осенью. И вдруг курьер: 6 ноября скончалась матушка-императрица — Екатерина Алексеевна Великая.

Вступивший на престол Павел Петрович, во всем противореча царственной матери, тотчас

издал указ о запрещении приема недорослей на военную службу.

И здравствуй, Мишенское! Василий Андреевич зело разохотился до пирогов, до белёвских гостиных, до сладостных ученых бесед с такими же неучами, как сам. И тут Мария Григорьевна очнулась.

— Васенька, в службу не взяли, поместий у тебя нет. С твоим ли умом в приживалах век коротать? Сама тобою займусь.

### СВЕТ УЧЕНИЯ

Свой четырнадцатый год Жуковский встретил в московском доме Петра Николаевича Юшкова на Пречистенке. Приехали из Мишенского как раз 29 января.

Зима всякое место в России наряжает в боярское платье, а Москве рескриптом императора Павла Петровича указано сугубо прибраться и похорошеть до марта: в марте коронация.

Москва прибиралась и хорошела, но города Жуковский не увидел. Мария Григорьевна праздности не терпела. С дороги отоспались, в санки — и мимо университета в университетский благородный пансион.

Высоколобый вельможа, в мундире со стоячим шитым золотом воротником, с крестом на ленте, встретил просителей ободряющей улыбкою.

Инспектор Антон Антонович Прокопович-Антонский — педагог прирожденный: на будущего воспитанника поглядел с благожелательным удовольствием. Сначала — ученик, потом уж и прошение.

— Что вы, друг мой, читали в последнее время? — спросил инспектор. — По-русски или, коль сведущи-та, на иноземных языках?

— Переводил для практики с немецкого «Избранные повести и басни» Мейснера. По-французски перечел на днях роман Бернарден де Сен-Пьера «Поль и Виргиния». По-русски «Анакреонтические оды» Хераскова.

— Утешительно-та! — Антон Антонович взял с полки тоненькую книжицу, что-то отчеркнул красным карандашом. — Это вам-та!

Жуковский прочитал отмеченное: «Главная

цель истинного воспитанника есть та, чтоб младые отрасли человечества, возрастая в цветущем здравии и силах телесных, получали необходимое просвещение и приобретали навыки к добродетели, дабы, достигши зрелости, принести отечеству, родителям и себе драгоценные плоды правды, честности, благотворений и неотъемлемого счастья». На обложке: «Взрослому воспитаннику Благородного при Университете Пансиона для всегдашнего памятования».

Ни сама Мария Григорьевна, ни тем более Василий Андреевич не понимали, с чего такое радушие, о том и позже ни единого слова не будет сказано, даже во времена дружбы воспитателя и воспитанника.

Разгадка глубоко лежала, но была проста: Бунин такой же «каменщик», как директор университета Иван Петрович Тургенев, как сам Прокопович-Антонский, как страдалец Новиков.

Инспектор поклонился Марии Григорьевне: — Плата за год 275 рублей. Особо прислуга, а также надобно приобрести-та серебряный столовый прибор-та. Наши воспитанники едят на серебре-та.

Деньги были внесены тотчас: Мария Григорьевна успела порасспросить, сколько станет ей учение Васеньки. В следующие два дня портной пошил синий форменный фрак, и пансионер, жаждущий святого товарищества, явился на учебу.

Пансион имел три ступени: по два класса на ступень.

Новичка сразу же провели на собеседование. Оно было доброжелательным, но въедливым. Воспитанника Василия Жуковского определили в первый класс средней ступени.

Надзиратель Иван Иванович Леман показал ученику его комнату. У окон и у стены десять кроватей. Одиннадцатая возле двери.

— Это моя, — сказал Леман по-немецки.

— А где я спать буду? Под иконою? У стены? Но это лучшее место! — Новый воспитанник был несказанно рад, все ему представлялось лучшим: само вступление в пансион, сама неведомая пока что жизнь.

— Воспитанник Жуковский! Извольте гово-

речь по-французски или по-немецки! Разве вас не ознакомили с правилами? — в голосе надзирателя сталь.

— Это от чувств! — признался Васенька уже на чудесном французском. — Я помню: по-русски изъясняться дозволено только в неучебные дни. Должно быть, в воскресенье и по большим праздникам?

— Так, так! — сказал Леман.

— И еще ведь в каникулы?! Весь июль!

— Так, так! — голос надзирателя потеплел.

Дежурный наставник шел по коридору, звеня серебряным колокольчиком.

Отворились двери классов, ученики, высыпая в коридор, тотчас строились в две шеренги.

Леман подвел Жуковского к былиночке с кудряшками, розовыми щечками, с готовым для смешинки ртом.

— Теперь вы пара, — сказал надзиратель.

Мальчик ростом был на полголовы ниже.

— Вам сколько лет? — спросил мальчик.

— Четырнадцать.

— А мне тринадцать! — просиял и подал руку: — Александр.

— Великий?

— Нет, я не Македонский. Тургенев.

— Василий Жуковский.

— Фамилия незнакомая, однако ж звучит многообещающе.

Они понравились друг другу.

Шествие двинулось в столовую. Перед широко открытыми дверьми, а из дверей потоки света, у темной стены стол без скатерти и удивительная надпись: «Ослиный стол».

Четыре места из шести было занято.

— Большинство предпочитает неизвестность, но такая слава тоже слава! — сверкнул озорными глазами Тургенев и указал на круглый, торжественно сервированный стол посреди столовой. — Здесь насыщают брэнную плоть выдающиеся зубрилы и гении от Бога. Цвет пансионата, благороднейшие из благородных. Впрочем, те, у порога, тоже благородные.

Кушанья подавали надзиратели.

— Счастливейшие минуты! — шепнул Тургенев. — Наши тираны, доносящие о каждом вздохе и чохе начальству, в роли слуг.

Все было вкусно. Среди пансионеров Жуков-

кий заметил ровесников, но добрая половина — дети. В низшие классы принимали с девяти.

— Казармой не пахнет? — наклонясь, спросил Тургенев.

— Мне казарма тоже нравилась.

— Вы — феномен! — признал обретенный друг, и в этом признании подвоха не было.

Первое огорчение пришлось испытать сразу после обеда. Оказалось, Александр — полупансионер. Живет на Моховой, в здании университета, совсем рядом. Его батюшка Иван Петрович Тургенев — директор университета, просветитель, отыскавший для России в провинциальном Симбирске светоча Карамзина.

— Не беда, что спать нам в разных дортуарах, — утешил Александр. — В восемь утра мы, которые полу-, уже в пансионате и только в шесть вечера покидаем его благословенные стены... Записывайся к Баккаревичу на русскую словесность — и мы будем неразлучны.

Пансионат предлагал своим воспитанникам программу пространнейшую: история русская, всемирная, естественная, логика, математика, механика, физика, география, статистика, право, артиллерия, фортификация, архитектура, мифология, русский язык и словесность; языки: латынь, французский, немецкий, английский, итальянский, иностранная словесность, рисование, танцы, верховая езда, фехтование, ружейные приемы, военные построения. Всего осилить было невозможно, и пансионеры имели право избрания основных предметов. Выбор Жуковского: обе истории, словесность, языки французский и немецкий, рисование.

Жизнь определилась.

В два часа пополудни Тургенев привел его в аудиторию, где лекции читал Михаил Никитич Баккаревич.

«Аудитория» — пело в груди дивное и, может быть, самое-самое из всех ученейших слов.

Скамьи и столы — амфитеатром, под потолок. Жуковский зачарованно воззрился на высоты, но Тургенев положил руку на плечо, усаживая на скамью первого ряда.

— Парнас — путь к ослиному столу. Сверху профессор с кузнечика, а для нас он должен быть великаном.

**БЕССМЕРТНЫЕ**

**И** вот он — великан. Среднего роста, среднего лица... Михаил Никитич Баккаревич вошел в аудиторию, словно бы сомневаясь, сюда ли, а если сюда — нужен ли? Просеменил к столу, уронил из-под мышки несколько томиков и, не поднимая глаз на пансионеров, принялся искать среди книг нужную. Все разом отодвинул. Чуть ли не скачком очутился за кафедрой, и нет человека — пламень.

*— Уже прекрасное светило  
Простерло блеск свой по земли  
И Божии дела открыло.  
Мой дух, с веселием внемли;  
Чудясь ясным толь лучам,  
Представь, каков Зиждитель сам!*

Вы узнаете? О нет, вы только начинаете прозревать...

*Когда бы смертным толь высоко  
Возможно было взлететь,  
Чтоб к солнцу бrenно наше око  
Могло, приблизившись, воззреть,  
Тогда б со всех открылся стран  
Горящий вечно Океан.*

— О-ке-а-ан! — продекламировал Баккаревич, прикрывая глаза веками. — «Горящий вечно Океан». Кто из пиитов российских, из римских, греческих проникал мысленным взором в суть материи, в суть эфира Вселенной?

*Там огненны валы стремятся  
И не находят берегов;  
Там вихри пламенны крутятся,  
Борючись множество веков;  
Там камни, как вода, кипят,  
Горящи там дожди шумят.*

Ломоносов! Ломоносов, други! Мы, сырые, отдали нынче сердца свои автору «Вертера», автору «Коварства и любви», Лоренсу, Стерну, Оссиану, Юнгу... Вот вы! — Баккаревич сбегал с кафедры и остановился перед Жуков-

ким. — Вы впервой на моей лекции. Кому из властителей дум принадлежит ваше сердце?

— Оберону, — пролепетал Жуковский.

— Оберону. Стало быть, Христофору Мартину Виланду. Но я говорю вам: Россия забудет Сен-Пьеров, Юнгов и даже Макферсонов. Бессмертно имя «Ломоносов»!

Баккаревич превратился в истинного великана. Медленно, величаво прошел на кафедру, обвел глазами аудиторию.

— Почему я так уверен? Да потому, что русская прасодия, стало быть, сама ритмика русского стихосложения выявлена из строя русского языка — Ломоносовым. Может быть, окутанные тьмой лжезнания потомки наши века через два, через три не будут знать од Ломоносова, его переложений псалмов, его размышлений по поводу северного сияния, но пиитам нашего пресветлого будущего придется пользоваться его открытием, его строем речи. Его и Державина! Гавриил Романович, слава богу, жив, здоров. Он наш современник, он творит. Но знайте! Он — бессмертный. Ученые мужи будут помнить Феофана Прокоповича, Третьяковского, Сумарокова, Петрова, Попова, Струйского, а вот стихи будут читать — через века — Державина.

*Цари! Я мнил, вы боги властны,  
Никто над вами не судья,  
Но вы, как я подобно, страстны  
И так же смертны, как и я.*

*И вы подобно так падете,  
Как с древ увядший лист падет!  
И вы подобно так умрете,  
Как ваш последний раб умрет!*

*Воскресни, Боже! Боже правых!  
И их моления внемли:  
Приди, суди, карай лукавых  
И будь един царем земли!*

Почему это прекрасно? Да потому, что в груди у нас от стихов Державина, от стихов Ломоносова возникает музыка. Музыка неуловимая, ибо является отзвуком гармонии Вселенной. Помните главное: стихотворный язык есть музыка. Вот к чему стремитесь. Берегите

музыку в себе, если она зазвучит, запоет в вашей крови. И страшитесь! Страшитесь осквернить музыку. Убить сей дар Всевышнего может одно-единственное слово. Не гоняйтесь за странностями, дабы увлечь читателей измышлением таинственности. Строго соблюдайте, чтобы рифма покорялась рассудку как своему царю. Избави вас бог быть рабами рифмы!

Когда лекция была закончена, Тургенев шепнул Жуковскому:

— Он говорит с нами так, будто все мы пииты! — засмеялся. — Ты чувствуешь в себе вселенскую гармонию?

— Чувствую! Александр, я ничего еще не знаю, но я чувствую!

— Тебе бы братца моего старшего послушать. Увы! Мы ему не ровня, он уже студент.

## ДОМА

**Б**ыть столичным жителем — пусть прежней столицы — все равно что иметь орден. Во дни коронации император Павел Петрович вдруг посетил университетский пансион.

Посещение было неожиданным. Пансионеров строили в коридоре, когда император уже появился в дверях. Стремительно пробежал перед фронтом онемевших от восторга юношей и мальчиков. Развернулся, пошел к выходу, и тут без команды, без подсказки грянуло: «Ура! Ура! Ура!» Павел повернулся. Строгое лицо озарила улыбка, серые глаза сделались солнечно-синими.

«Господи, благодарю Тебя! — молился Васенька Жуковский, ложась вечером в постель. — Я видел императора! Он прошел так близко, что воздух восколебался. Я дышал в тот миг одним воздухом с повелителем России».

Трогал губы и рассматривал руку, словно она могла позолотеть.

«Господи! Повторимо ли такое счастье?»

Распорядок в пансионе был строже, чем в Кексгольмской крепости, но Жуковский исполнял всякий его пункт с наслаждением.

Подъем в пять. Замечательно! Утренние звезды прекрасны. Они трепещут перед рассветом, они, как слезы, готовые сорваться с ресниц... С

шести до семи — подготовка домашних заданий. Голова с утра как родник. В семь в столовой общая молитва, чай. Можно бы и посытней, но учиться легче. Уроки с восьми до двенадцати. И пожалуйста — обед! После обеда свободное время. Пища улеглась в животе, сонливость прошла — снова занятия. С двух до шести. Еще час на повторение пройденного. И вот он — ужин. Вечерняя молитва, глава из Библии. Быть чтецом — награда. Жуковский удостаивался сей чести. Его место за круглым столом — постоянное.

В девять грустный колокольчик зовет ко сну. Васенька даже ждет этого звона. День вмещает в себя необъятное: века, императоры, дивные творения древних, звон шпаги, конь, дерущий гордую голову...

Щека касается подушки. И — мама! Мама сидит по-турецки, скрестив ноги. У нее гибкий стан, у нее удивительные брови, но улыбается она не поднимая век.

— Мама, расскажи мне о турецкой жизни.

— О турецкой? Ах, Васенька, то был сон... И ты спи. Пусть тебе приснятся звезды.

Он хочет возразить, но перед ним разверзается небо с огромными, как яблоки в мишенских садах, звездами. И ни Большой тебе Медведицы, Лебеда, Орла. Звезды пылающим пунктиром, алмазными гнездами! Красота надмирная.

В субботу вечером за Васенькой приезжала Варвара Афанасьевна, всегда сама. Но весной из пансиона его стал забирать учитель, приглашенный к сестрицам: Варвара Афанасьевна кашляет кровью. Для чахоточных весна — испытание. Пережить бы...

Варвара Афанасьевна московской весны не пережила.

Сразу после похорон Юшковы поднялись сემейством и уехали в Мишенское.

Васенькина первая самостоятельная дорога домой началась в день поминаения бессребреников Космы и Дамиана. До Тулы доехал за два дня. В Тулу Мария Григорьевна прислала за ним свой тарантас и своего кучера Егора.

Выехали в Мишенское при звездах, до жары. Дорога белела, как Млечный Путь над головой.

В полночь отгремела гроза. Омытое дождем небо было прозрачное — родник. На доньшке звездный песочек.



— Подреми, барин, — посоветовал Егор. — Чуешь, сон-травой пахнет?

Ночь, но земля пахла солнцем. Теплые потоки воздуха перемежались холодными струями. Ехали то к небесам, то на вершины холмов, то в бесконечные сумерки пойменных низин. Светало.

Василий Андреевич задремал, а пробудился от хохота.

Тарантас стоял над рекою. Кучер поил лошадей, а в реке, саженьх в десяти, плескались бабы.

— Бесстыжье племя! — крикнул Егор, видя, что барин пробудился.

— Сам бесстыжий! — откликнулись купальщицы. — Не твоя речка, наша.

— Божья! — возразил Егор. — Вот соберу сарафаны — попляшете!

— Мы тебя самого голяшом пустим! — осердилась бабья заводила.

— Не народ — разбойники! — сказал Егор в сердцах. — Пори его не пори!

— Сам, небось, поротый! Сними портки, поглядим! — пуше прежнего хохотали купальщицы, выпрыгивая по-рыбьи из воды: мы — этакие.

— Поехали, Егор! — попросил Василий Андреевич.

— Девки, чего теряетесь, угостите барчука. Он вас денежкой подарит! — крикнула заводила.

Пятеро или шестеро девок кинулись не за сарафанами — за лукошком. Егор уже сел на козлы, когда они обступили тарантас.

— Земляника-то луговая. Слаще меда! Отдарись, барин!

Василию Андреевичу попался серебряный рубль.

— Ведьмы! — крутил головою Егор, нахлестывая лошадок. — У них барин свихнутый. Сам ходит в чем мать родила, и вся дворня у него разголяшенная. Не бери, Василий Андреевич, в голову. Дурость бесстыдная. Гля-ко! Дрофы! Дрофы! Господи, уже макушка лета.

Василий Андреевич, повернувшись, смотрел на птиц, на плывущую из-под колес землю. Егор запел потихоньку:

*Отчего, братцы, зима становилась?*

*Становилась зима от морозов.*

*Отчего, братцы, становилась весна-красна?*

*Весна-красна становилась от зимы-трещуны.*

*Отчего, братцы, становилось лето тёпло?*

*Становилось лето тёпло от весны от красной.*

*Отчего, братцы, становилась осень богата?*

*Осень богата становилась от лета от тёпла.*

«Господи! — осенило Василия Андреевича. — Вот она, моя тоска. Я ведь по русскому языку искушался. Господи, награди меня дивом русской речи».

На него снизошел сон, а пробудился, когда на небесах проступали белёвские яроснежные церкви, столп надвратного храма Спасо-Преображенского монастыря, храмы Кресто-Воздвиженской обители.

— Егор! Егор! — окликнул Васенька.

— Что, барин?

— Ока, Егор!

— Она самая.

И вот она, любимейшая из дорог — в Мишенское, две колеи через зелено-золотое море травы и лютиков. Каждая чашечка столь обыкновенного цветка сияет, будто единственная в мире.

— Егор, погляди! Коршун!

— Ястреб, барин. Се — ястреб.

Жуковский смотрит на белые колеи. Над колесами легкое воспарение мельчайшей пыли. Пыль пахнет знакомо сладко: запах родины.

Они въезжают во двор, окруженные дворней. Все радуются барину.

— Пригожий! Пригожий! — слышит он девичьи шептанья.

Успевают отдать поклон, но его тотчас подхватывают под руки, ведут в дом.

У Марии Григорьевны в руках икона Богородицы. Васенька прикладывается. Ищет бабушкиной руки для поцелуя, но слышит строгое:

— У матушки напервой целуй.

Матушка выступает из-за спины благодетельницы. Лицо в слезах и сиянии, так бывает, когда солнце и дождь.

Он целует родную руку, благодарно припадает к руке Марии Григорьевны и снова слышит строгое:

— Что же ты Варвару Афанасьевну не уберег?

Не плакал на похоронах — теперь разрыдался.

Слуги принесли сундук.

— Неужто столько добра накопил?

— Книги.

— Васенька, господь с тобой! Нашел, на что деньги тратить! — ахнула Елисавета Дементьевна.

— Иные мне в награду дадены, иные Варвара Афанасьевна подарила. Сам я двухтомник купил: «Плач Эдуарда Юнга, или Нощные размышления о жизни, смерти и бессмертии» в переводе Кутузова да эту же книгу в переводе Пьера Летурнера.

— Не зря, вижу, в ученье отдан! — решила Мария Григорьевна. — Баня готова. Мойся, отдыхай. Час обеда сам знаешь. Жить тебе во флигеле, где у немца-дурака учился.

— Полки бы для книг сделать...

— Будут тебе полки. Лисавета, пошли Прова к Василию Андреевичу. — И улыбнулась наконец. — Скучали мы без тебя.

### СТЫД И СЧАСТЬЕ ОТРОЧЕСТВА

Елисавета Дементьевна пришла к Васеньке сразу после бани: с легким паром поздравить, думала застать в постели, а Васенька книги на полки ставит.

— Столяр Пров — волшебник! Пока я мылся — готово!

Елисавета Дементьевна с опаскою дотрагивалась до корешков томов и томиков.

— И все это у тебя в головушке? Васенька! Дураком-то не станешь?

— Ах, матушка! Видела бы ты библиотеку Тургеневых! Все четыре стены — книги. До потолка, а потолок от пола — три сажени с аршином.

— Бог с ними, с богатыми людьми! Деньги есть — чуды на здоровье. А нам с тобой, Васенька, о каждом грошике думать надобно. — Матушка набралась храбрости, коснулась ладонью сыновьего темечка. — Наши денежки растут помалу, а убывают помногу.

— Да какие же у нас траты?

— А учеба?

— Но за учебу заплатила Мария Григорьевна!!!

Елисавета Дементьевна вздохнула.

— Она заплатила, да денежки-то мои. Благотель Афанасий Иванович в завещании тебя не помянул. Просил не оставить. И Мария Григорьевна поклялась ему, отходящему к Богу, — не оставит-де. И не оставила. Имение Афанасий Ива-

нович поделил на четыре части: трем дочерям и семейству покойницы Натальи, но покуда барыня жива — она хозяйка. Слава богу, по совести распорядилась. Со всех четырех долей взяла по две с половиной тысячи. Деньги твои, а беречь их мне указано. Войдешь в возраст — сам станешь распоряжаться капиталом. Об убыли печалуюсь.

Поцеловал Васеньку ручку матушке, посмотрел в ее дивные карие глаза...

— А ведь я в тебя.

— Чело батюшкино. Кудри батюшкины. Губы. Ушки-то аккуратненькие, тоже как у Афанасия Ивановича.

Отобедали в тот день по-барски. Трюфеля были поданы. Бекасы.

— Любимые кушанья Афанасия Ивановича! — сказала Мария Григорьевна, крестясь и кланяясь иконам.

— А зимой так тетерева! — напомнил Васенькин крестный и особо посмотрел на барыню.

Барыня одобрительно прикрыла глаза веками, Андрей Григорьевич выскочил из-за стола, распахнул дверь в светелку, взмахнул рукою, и тотчас грянула песня:

*Дней прошедших вспоминанье*

*Стало мукой выше сил.*

В первое мишенское утро Васенька поднялся раньше, чем в пансионе, даже птиц раньше. Свежеструганное дерево полок светилось, пахло сосной, солнцем, от простыней — речкою.

Вышел на крыльцо. Тишина необъятная.

И тотчас птички муэдзины закричали побудку. Птичий народ ответил воплем восторга.

— Вот оно! Вот оно! — горло сдавило слезами. — Всякое дыхание славит Господа!

Кинулся в комнату, взял перо, бумагу, чернила... Все это оставил. И по траве, по росе, напрямик — в долину, к Васьковой горе. Стихи не придумывают, сами приходят.

*Белорумяна*

*Восходит заря.*

*И разгоняет*

*Блеском своим*

*Мрачную тьму нощи.*

Захлебнулся счастьем.

*Белорумяна  
Восходит заря...*

Солнце поднялось огромное, и он стоял перед ним и пел ему, ликуя:

*Феб злагозарной,  
Лик свой явивши,  
Все оживил.  
Вся уж природа  
Светом оделась  
И процвела.*

Строфа прикладывалась к строфе, хлынула музыка, заполняя пространство от горы, где стояла усадьба, до Васьковой горы. С головой накрыла.

Однако ж к чувству нужно было ум приложить. Вчера перед сном он начитался юнгових ночных плачей.

Насупился, опечалился.

*Жизнь, мой друг, бездна  
Слез и страданий...  
Щастлив стократ  
Тот, кто, достигнув  
Мирного берега,  
Вечным спит сном.*

На Васькову гору не пошел. Потянуло на кладбище. Сорвал два василька, положил на порог часовенки — усыпальницы дворян Буниных. Сей усыпальнице четырнадцать лет. Ровесница. Афанасий Иванович ради его рождения возблагодарил Бога постройкою новой церкви. Бревна прежней — вот они: вечный дуб.

Удивительно хорошо вставать до зари. Первые птичьи песни — твои, сияние рос — тебе, для тебя солнце в небо поднимается.

Женский народ все еще во власти Морфея: две Анюты, две Авдотьи с Марией.

Господи! Пятеро сирот. Наталья Афанасьевна умерла в родах, не дожив до тридцати, Варваре Афанасьевне было двадцать восемь. Четверых осиротила.

Вспомнилось, как давным-давно с Варварой Афанасьевной, закутавшись в меховой полог, сидели под кустами сирени и слушали мишенских соловьев. Ужас! С полуночи до утра! Втайне!

— У нас теперь души соловьиные! — сказала она тогда. То было в мае.

Он поспешил в свой флигелек. Записал стихи и, помедлив, вывел вверх «Майское утро».

В душе что-то совершалось, и это непонятное требовало выхода. Перо само побежало по бумаге, заноса на лист торжественную музыку печали. Майская ночь стояла перед глазами и — часовня.

«Как величественно это небо, распростертое над нашим шатром и украшенное мириадами звезд! А луна? Как приятно на нее смотреть! Бледномерцающий свет ее производит в душе какое-то сладкое уныние и настраивает ее к задумчивости... Живо почувствовал я тут ничтожность всего подлунного, и вселенная представилась мне гробом. «Смерть, лютая смерть! — сказал я, прислонившись к иссохшему дубу, — когда утомится рука твоя, когда притупится лезвие страшной косы твоей и когда, когда перестанешь ты посекать всё живущее, как злаки дубравные?... Ты спешишь далее, смерть грозная, и всё — от хижины до чертогов, от плуга до скипетра — всё гибнет под сокрушительными ударами косы твоей».

Он услышал самого себя, голос свой, произносящий грозные слова о грозной судьбе человечества. Мешали слезы, он писал почти вслепую, сдерживая рыдания:

«И я, и я буду некогда жертвою ненасытной твоей алчности! И кто знает, как скоро? Завтра взойдет солнце — и, может быть, глаза мои, сомкнутые хладною твоею рукою, не увидят его. Оно взойдет еще — и ветры прах мой развеют».

Перо выпало из руки. Он плакал, и не потому, что было жалко жизни своей. Свершилось! Он — поэт.

— Варвара Афанасьевна!.. Варвара Афанасьевна!..

Он знал, чье это благословение.

Снова взял перо и на оставленном вверх листа свободном месте написал: «Мысли при гробнице».

Поэт — существо надмирное.

Василий Андреевич впал в задумчивость.

Бродил возле мельницы, глядя в омут. Часами сиживал на Васьковой горе. Ладно бы молился али с девицею. Ан нет. Сидел, глядел и — вздыхал.

Встревожилась Мария Григорьевна. Коли пошли вздохи — беда! Из-за карамзинской Лизы немало вздыхающих утопилось. Всё от нежного сердца.

Барыня, недолго думая, устроила смотр дворовым девкам. На Агапку пал выбор.

Сводили девку в баню, причесали, в сарафан нарядили, в таких сарафанах барыньки пастушками прикидываются. Шелковый, шитый с хитростями: не мешком, а чтобы и стан, и всю притягательную пышность выказать.

Девка попалась, слава богу, не дура. Грамоте маленько была научена. Вот и посадили ее в тенежке, против флигелька Василия Андреевича книжку читать.

Как Агапку не приметить! Белолица, волосы — золото, глаза — черные алмазы.

Подошел Василий Андреевич, полюбопытствовал, что за книжка. Обрадовался:

— Херасков! Михаил Матвеевич, мой учитель. Не учитель, конечно, но экзамены мы ему сдаем. Нравятся стихи?

— Нравятся, — сказала Агапка, оробев. — Токмо не больно понятные.

*Покидает солнце воды  
И восходит в высоту,  
Ясный день всея природы  
Открывает красоту.*

— Что же тут непонятного?

— Стадо Дафнино непонятно! — показала пальчиком Агапка.

Пальчик нежный, ноготок будто греческим вятеlem выточен.

— Дафна — имя, — объяснил Василий Андреевич. — Стихотворение буколическое. Пастушье. Сие есть поэтическая традиция. Она восходит к пиитам Древней Греции... Я книгу тебе дам.

Увел Агапку во флигелек, и надолго.

— Ну? — спросила Мария Григорьевна девку.

Агапка показала барыне книжку.

— Почитать Василий Андреевич наказали.

Барыня подняла брови на лоб.

— Ну?

— Василий Андреевич сочинение мне читал.

Про гробницу.

— Про какую гробницу?

— Не знаю! — испугалась Агапка. — Еще «Майское утро».

Мария Григорьевна окинула девку двумя-тремя взорами: Агапка сама была как майское утро.

— Не в Афанасия Ивановича голубок! А ты тоже душой-то не будь. Каждый день к нему навевывайся.

Агапка была послушна, навевывалась, и Василий Андреевич, узнавши ее сообразительность, тягу к чтению, стал давать ей уроки словесности.

Мария Григорьевна однако ж от своего плана не отступила. Подождала денька три и прислала красавицу в баню спинку недорослю потерять.

Василий Андреевич при виде растелешенной Агапки побагровел от затылка до пяток.

— Я сам! Я сам! — закричал он, прикрываясь веником, да вот Агапку закрыть было нечем.

Тут она и пала перед ним на колени.

— Барин, не гони меня! Не губи!

Куда им было деваться, сделали то, чего от них ждали. Потом сидели на лавке и плакали.

— Я не барин, — говорил Агапке Василий Андреевич. — Я такой же раб, как и ты... Бежать! Бежать!

## ДВОРЯНСКИЕ БЕЗУМСТВА

**Н**е убежал. Из бани — в постель, и уж так поспал: пробудился ввечеру другого дня.

На столе — кушанье, от кушанья — парок: с пылу с жару. Ел, как после Великого поста... Насытился и поскуучнел.

Пошел к Андрею Григорьевичу. Андрей Григорьевич переписывал ноты в толстую тетрадь.

— Сто сорок пятый псалом в переложении Михаила Васильевича Ломоносова. — Спел: — «Хвалу Всевышнему Владыке Потщися, дух мой, вossылать; Я буду петь в гремящем лике О Нем, пока могу дышать».

– Дивно! – оценил Василий Андреевич, а глазами – далеко-далеко.

– Что за печаль, дружок? – встревожился крестный.

– Ах! – вырвалось у Василия Андреевича, а про себя еще раз ахнул: ничего другого сказать невозможно.

– Пошли рыбку удить! – предложил крестный.

Сели возле мельницы. Поплевали на червячков. У Андрея Григорьевича поплавок сразу же заснул, а у Василия Андреевича – нырь!

– Ерш! – обрадовался крестный.

И пошло. Но преудивительно! У Андрея Григорьевича ни единой поклевочки, а Василий Андреевич уже тридцатого с крючка снимает.

Рыбка развеселила, да не вылечила. Не шло из головы: ну как, как на Агапку теперь посмотрит он? Господи, а как поглядит на него Мария Григорьевна? Стыд! Стыд!

Да вот она, судьба.

На подводе в одну лошадь привезла все свое состояние да Машеньку с Сашенькой, старшей четыре годочка, младшей – два, Екатерина Афанасьевна Протасова.

– Андрей Иванович проиграл в карты все, что имел! Матушка, мои дочери нищенки.

– Бога не гневи! – крикнула Мария Григорьевна на любимицу свою, на счастливейшую в семействе. – Тебе принадлежит орловское село Бунино, белёвское Муратово. Сам-то что?

– Андрей Иванович поехал места искать.

– Сколько горя женщине от дворянской дурости мужей! Жизни на кон ставят. Тот – на дуэли, этот – на карту... Не нами заведено, господа, да нам терпеть. – Мария Григорьевна глянула на дочь хозяйкою. – Занимай, Екатерина, отцов кабинет... Бог взял, Бог и даст.

Иная неделя тянется как век, а вместо воскресенья – еще удар. Не перенес Андрей Иванович Протасов своего несчастья.

Было в Мишенском пятеро сироток, стало семеро.

Василий Андреевич, уберегая старшую, Машеньку, от плачей в доме, водил смотреть мельничное колесо. Говорил как с маленькой, и она вдруг потянулась к нему ручками, а когда он ее взял, приникла всем тельцем и плакала, плакала.

– Машенька, – говорил он ей, потерявшись,

– Машенька, все тебя любят! Тебя все любят.

– Ты тоже меня любишь? – спросила сквозь рыдания девочка.

– Очень! Очень!

– Поцелуй меня в глазки. Мне глазки папа целовал, когда я ложилась. Ты будешь приходить к моей постельке?

Пришлось признаться:

– Я завтра уезжаю, Машенька. Каникулы у меня кончились.

– Я буду тебя ждать! – и приникла еще крепче, сильнее.

## АНДРЕЙ ТУРГЕНЕВ

**В** Москве, глянув в святцы, Василий Андреевич узнал: Агапия – любовь.

Они простились на заре в день его отъезда. Вышел, как всегда, с птицами поздороваться, а она ждет за углом флигелька. В руках венок из колокольчиков. Подбежала, увенчала, кинулась прочь. Он и сказать ей ничего не успел.

Теперь это жило в нем: зазвонят надзиратели в колокольчик, а у него в глазах иные звоны, синие.

Да ведь жизнь – река. Как ледяною водою после бани окатило Жуковского славой. Сначала ужас, а потом – блаженство.

Баккаревич на весь пансион превознес «Майское утро» и особенно «Мысли при гробнице». Оказывается, Михаил Никитич сам сочинил подобное – «Надгробный памятник», но педагог-то истинный! – с воодушевлением признал в творениях ученика достоинства превосходнейшие и неоспоримые.

Стихи и проза пансионера были помещены в журнале «Приятное и полезное препровождение времени». Читаны в пансионе, в университете.

Ах, как дивно взирать на имя свое, печатно врезанное в анналы времени: «Сочинитель Благородного университетского пансиона воспитанник Василий Жуковский».

Сочинителя одарило вниманием начальство. Инспектор Антон Антонович Прокопович-Антонский пригласил пансионера к себе до-

мой, поднес книгу Христофа-Христиана Штурма «Утренние и вечерние размышления на каждый день года», предложил для весенних публичных актов, на которых бывает вся именитая Москва, сочинить оду во славу императора Павла Петровича.

Официальное признание дорого, но еще дороже признание просвещенной публики. Со знаменитостями жаждут знакомства.

Сияя толстыми щеками, Саша Тургенев объявил товарищу:

— Мой брат Андрей приглашает тебя для беседы и обсуждения сочинений.

Андрей — студент университета, ему шестнадцать!

У Тургеневых Жуковский был уже два раза: Саша давал ему книги из библиотеки отца. Главу семейства Ивана Петровича Жуковский видел в пансионе. Знал младшего Тургенева, Николая. Ему восемь лет.

И вот — Андрей.

Малиновый стоячий воротник студенческого мундира подчеркивает белизну лица. О таких лицах принято говорить — утонченное. Кудрявые короткие волосы. Красивые губы ласковы, но сложены строго. Андрей приготовился к беседе значительной. В шестнадцать лет всякая беседа о вечности.

— Здравствуйте, Жуковский! — рука истинно аристократическая, женственной белизны и склада, а силы мужской. — Я вас читал.

— А я читал ваши философские брошюры. Александр приносил.

— Всего лишь переводы. Научные тексты творчества не терпят. Но я теперь перевожу драму Августа Коцебу, — улыбнулся. — Где поэзия — там воля.

Они прошли в библиотеку, сели в кресла.

— Жуковский, это все сочинено до нас. За десятки, за сотни, за тысячи лет до нашего рождения. — Андрей повел рукою, показывая на стены с книгами. — Жуковский, вам не страшно?

— Если об этом не думать — не страшно.

— Но возможно ли — не думать? Возможно ли не повторить открытого задолго до нас? — На висках Андрея проступали голубые жилочки. Чудилось, можно подсмотреть, как складываются мысли в этой светлой голове.

Весь вчерашний день у Васеньки вспотевали ладони, когда он думал о предстоящей встрече, но Андрей не экзаменовал, Андрей искал ответа на высокие вопросы, не стыдясь собственной беспомощности.

— Мы никого не повторим, Бог дает нам жизни неповторимые.

— Жуковский! Вы — гений! — Андрей вскочил, потряс руку собеседнику, придвинул лицо — глаза в глаза. — Но ведь русская литература — в состоянии зачатия. Нашей учебе — век. Мы еще в первом классе.

— Виршами Симеона Полоцкого начиналась российская пиитика, но теперь у нас Карамзин! — Васенька слышал свой голос, и в сердце у него было жарко: он говорил с Андреем Тургеневым как ровня.

Андрей усмехнулся.

— Карамзин — Европа. Верно, Жуковский! Карамзин прорубил окно словом, как Петр Великий топором... Да, он научился у французов говорить о чувствах, но, Жуковский, — я этого не смогу толково изъяснить, однако ж представляю с ужасающей четкостью: Карамзин говорит русскими словами, но думает-то он по-французски. И чувствует — по-французски! Разве его Лиза — крестьянка?

— Лиза — поселянка...

— Хорошо, поселянка. Дочь свободного землепашца, не крепостная. С крепостной девкой нежносердый Эраст долго бы не церемонился.

Василий Андреевич холодеет и пламенеет, помня Агапку, но как можно сомневаться в гении Карамзина?

— Ведь все это о русских людях. Через Карамзина Европа и весь мир узнают сердце русского народа. Тургенев, вспомните! — и процитировал на память: — «Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях своих бледную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся Натура пребывала в молчании». Это прекрасно!

— Красиво, Жуковский... Это очень красиво. Но жизнь-то выдуманная, и выдуманная по иноземным образцам. Мне омерзительны пасторальные нежности омерзительных ско-

тов, торгующих русскими людьми... Карамзин превосходно подменяет русскую жизнь европейской, а сие не что иное, как сокрытие от просвещенного мира ужасающего рабства, цветущего в нашем Отечестве... Слез в «Бедной Лизе» — море, но великие страсти Карамзину неведомы... Жуковский, вы хорошо знаете Шиллера? Ах, вы только слышали о Шиллере, так внемлите!

И прочитал по-немецки «Оду радости».

— Жуковский, вы чувствуете? Это иное! Это не московские пруды Карамзина. Это — океан. Океан человеческого сознания. И главное — стремлений!

В глазах Андрея сверкал восторг.

— А Гёте?! Жуковский, вы читали Гёте? Не смущайтесь! Я завидую вам. В Гёте вы откроете для себя величайшую поэзию, горный мир природного немецкого величия и высокоумия.

Андрей взял с полки книгу, положил перед Жуковским.

### ПРИЗВАНИЕ ХУДОЖНИКА

*Когда бы клад высоких сил  
В груди, звеня, открылся!  
И мир, что в сердце зрел и жил,  
Из недр к перстам пролился!  
Бросает в дрожь, терзает боль,  
Но не могу смириться,  
Всем одарив меня, изволь,  
Природа, поклониться!*

Это прочитал вошедший в библиотеку высокий молодой человек, крутоплечий, как ямщик, да и с лицом пожалуй что ямщицким. Волосы начесаны на лоб, отчего голова кажется приплюснутой.

— Алексей Федорович Мерзляков! Поэт и студент, — представил хозяин. — Василий Андреевич Жуковский. Поэт, прозаик, пансионер. А мы трое — будущее русской литературы. Быть ей великой!

Расхохотался громко и так заразительно, что и Василий Андреевич не удержался, глядя, сколь широко растягиваются губы на простецком лице нового знакомого.

— Ваш братец нынче прямо-таки изумил меня, — сказал Мерзляков. — Ни единой ошибки в диктовке, а слова подобрал я самые мудрёные.

— Алексей Федорович дает Николеньке уроки русского и латыни, — пояснил Андрей. — Представляете, Жуковский, русский и латынь для Мерзлякова совершенно своя стихия. Но то же приходится сказать о древнегреческом, о французском, немецком, итальянском. И это в девятнадцать лет!

— Увы! В девятнадцать! — серьезно сказал Мерзляков. — В Долматове учителей не было. Глухомань-матушка.

— А где это? — спросил Василий Андреевич.

— В Пермской губернии. Мой батюшка купеческого рода, но торговлишка у нас мелкая. Мне о науках и мечтать было невозможно, кабы не стихи.

— Жуковский, а сколько вам лет? — полюбопытствовал Андрей.

Василий Андреевич покраснел:

— Четырнадцать.

— И Мерзлякову было четырнадцать, когда его оду напечатали в «Российском магазине». Не о царях. Оду на мир со Швецией.

— Оставь, Андрей!

— Как же оставить? Я вижу в совпадении нечто пророческое. Пииты Екатерининских времен, Елисаветинских и еще более ранних начинали далеко за двадцать лет. Триаковский свое «Прощение любви» напечатал в двадцать семь, Ломоносов первые оды сочинил в тридцать. Сумароковские элегии появились, когда автору было тридцать восемь. А наше поколение являет себя миру — в четырнадцать! Господа, мир помолодел!

— Все от нужды, — сказал Мерзляков. — Явилась нужда в сочинителях, и ради моей оды я был взят в Москву, в университетскую гимназию.

— Жуковский, мы с Мерзляковым собираемся сделать новый перевод Вертера. Перевод, достойный Гёте. — Глаза Андрея сделались требовательными. — А каковы ваши устремления?

— Господин инспектор поручил мне к акту сочинить оду в честь Павла Петровича... Теперь по совету Антона Антоновича я изучаю Штурма.

— Вездесущий Штурм! — Андрей вскочил,

снял с полки книгу, прочитал, кривя лицо от возмущения:

— «Рабство есть определение Божие и имеет многие выгоды...» Выгоды! «Оно устраняет от тебя заботы и прискорбия жизни». Устраняет? От попирающего человеческое достоинство?.. «Честь раба есть его верность, отличные добродетели его суть — покорность и послушание». Вот оно, обожествление тирании. Обожествление жизни червя, коему судьбой назначено рыхлить землю и собою унавоживать ее... Для того ли жизнь дана, господа? Разве образ Бога на одних помещиках? На рабах, господа, на несчастных крепостных наших тот же самый Пресветлый. Творцу мира неведомы устремления низшие. Он — Свет, Он — Вселенная. Огонь, рождающий миры. Вот моя религия, господа. Что же до нас... Жуковский, Мерзляков! Если мы избраны быть словом, то наше дело — звать человека к подвигу, нашим миром должен быть мир героев и уж никак не рабов.

Василий Андреевич, вернувшись в пансион, впервые пожалел, что надо ложиться спать, есть, пить, слушать Баккаревича, — хотелось к Андрею. В Андрее было больше, чем в книгах, даже в том же Гёте.

И вдруг вспомнил Мерзлякова, его деревенскую улыбку и нежданно обидные слова о Карамзине.

— Что вы с ним носитесь? «Бедная Лиза!» «Письма русского путешественника!» Не спорю, Карамзин — блюдо сладкое. Сладко, да не мёд. Патока! Все сочиненное Николаем Михайловичем встречено громким «Ура!». Но хваленый русский язык его, как постель невинной девицы, чистенько, мягонько и всюду кружева.

— Если Карамзин — патока, то что же мед? — спросил Андрей.

— «Песнь песней», господа. И крестьянские песни! Возьмите хоть мою пермскую глухомань, хоть вологодскую, нижегородскую... Не с тех цветов, знать, собирает свой нектар наш светоч. Но и то правда — иного у нас нет!

— Будут! — крикнул Андрей.

Это «будут» даже приснилось Жуковскому. Он и сам крикнул и проснулся.

## УСПЕХИ

Публичный акт перенесли с весны на зиму. 19 декабря 1797 года воспитанник Благородного университетского пансиона Василий Жуковский предстал пред увенчанным государственными сединами и славою российского пинита, пред самим Михаилом Матвеевичем Херасковым, создателем пансиона, бывшим директором, ныне попечителем Московского университета. Лента через плечо, ордена. Лицо открытое, приветливое, а посмотреть страшно — сама история. Но полетела первая строка, и отчаянье, ударившись крылами о бездонную громаду зала, тотчас обернулось восторгом.

*Откуда тишина златая  
В блаженной северной стране?  
Чьей мощною рукой покрыта,  
Ликует в радости она?  
В ней воздух светел, небо ясно,  
Не видно туч, не слышно бурь.  
Как реки в долах тихо льются,  
Так счастья льются в ней струи.*

Жуковский плыл по волнам слов в никуда, не видя лиц, но оды пространны, и, пообвыкнув, он ощутил внимание. Когда же прочитал строки: «Его недремлющее око / Всегда на чад устремлено», увидел одобрительный кивок великого Хераскова.

— О, россы! О, дражайши россы! — восклицал чтец, уже любя свои стихи.

*Не царь — отец, отец вам Павел,  
Ко благу, к славе верный вождь.  
Ступайте вслед за ним, спешите:  
Он в храм бессмертья вас ведет!*

.....  
*Питайте огонь к нему любви,  
Питайте с самых юных лет,  
Чтоб после быть его сынами  
И жизнью жертвовать ему.*

Ода кончилась, и следовало бы умереть. Слава богу, обошлось. И увы! Сей день не стал днем Жуковского. Золотую медаль, а к ней — флейту Херасков вручил Александру Чemezову



за стихи «К счастливой юности». Ода Жуковского «Благоденствие России, устрояемое великим ея самодержцем Павлом I» удостоена была серебряной медали.

Минул год, год дружбы с Андреем Тургеневым, и снова публичный акт и суд не токмо Хераскова, но пожалуй что самого XVIII столетия, еще не минувшего, но изжившего себя.

В «Добродетели» юного сочинителя пламенела неприязнь ко времени, стало быть, к тому, кого сам же славил год тому назад.

*Иной гордыни чтит законы.  
Идет неправды по стезям;  
Иной коварству зиждет троны  
И дышит лестию к царям.*

Смелые стихи пленили Михаила Матвеевича, но более — проза. «Слово об Иване Владимировиче Лопухине»:

«Пускай напыщенный богач ступает по златошвейным коврам персидским! — Лицо оратора пламенело вдохновенным гневом. — Пускай стены чертогов его сияют в злате: злато сие, многоцветные искания сии — они помрачены вздохом угнетенного, кровию измученного раба!»

Херасков пришел в восторг. Лопухин, старший его товарищ, был подвержен русскому юродству. Половину состояния раздал калекам и прочей московской нищете. Память о верном соратнике Новикова дорога, но дороже направление юношества. Будущая Россия не потерпит тирании, вон как глаза-то горят у питомца Антона Антоновича! Мысль Новикова и масонов обретает плоть.

Жуковскому — золотая медаль. Жуковский — первый ученик Благородного пансиона.

На этом памятном для пансиона акте 1798 года воспитанникам было предложено сделать свободный выбор лучших в трех возрастах. В большом возрасте избранниками стали Сергей Костомаров и Василий Жуковский, в среднем — Константин Кириченко-Остромов и Степан Порошин, в младшем — Алексей Вельяминов и Степан Вольховский.

Была в пансионе и Дирекция забав. Директорами избрали лучших большого и среднего

возрастов, а им в помощь Павла Собакина, князя Григория Гагарина и Александра Хвостова. Секретарем дирекции был назван Семен Родзянко — товарищ лучших.

Среди вторых оказались Александр Тургенев, Иасон Храповицкий, Петр Лихачев, Николай Небольсин, Сергей Фон Визен, Семен Урусов...

Праздники памятные, да коротки, но огорчения еще памятней.

Для многих жизнь Благородного пансиона, где мнение воспитанников начальством уважалось, попахивала французскими свободами.

В России любить свободомыслие других не менее опасно, чем самому прослыть противником устоев. О Благородном университетском пансионе шла молва, и ладно бы в Москве, но и в Петербурге, что сие заведение — гнездо масонов. На кары у Павла Петровича рука скорая, и Херасков, не щадя имени своего, быстрехонько сочинил и тотчас же издал поэму «Царь».

Низкопоклонное угождение тирану Павлу в порядочных домах посчитали за бесстыдство, коему нет оправдания. Андрей Тургенев молча указывал пальцем то одну, то другую строку в «Царе», и, когда Жуковский начал было отмеченное читать вслух, захлопнул книгу.

— Это должно быть предано молчанию. Еще одно такое творенье — и молчанию в веках подвергнется всё, что вышло из-под пера сего пиита.

Жуковский знал: Андрей ненавидит бессмысленную тиранию Павла, но к славильщику тираний ненависть его была мучительной, как болезнь.

Андрей сказал:

— Мне мерещится в воздухе омерзительный запах разложения.

Это был урок. Впервой призадумался Жуковский о сочинительстве.

Оказывается, стихи, написанные ладно, с громами, с восторгами, могут ввергнуть автора в омут позора, утопить в этом ужасном омуте.

Однако ж для самого-то все было как нельзя лучше. Инспектор Антон Антонович, радуясь обилию поэтических талантов в пансионе, учредил Собрание и назначил Жуковского постоянным его председателем.

В журнале «Приятное и полезное препровождение времени» печатались Семен Родзянко, Михаил Костогоров, Григорий Гагарин, Аким Нахимов, Александр Чемезов, Сергей Костомаров, Константин Кириченко-Остромов.

Для заседаний Собрания Антон Антонович выбрал среду и определил время: с шести вечера до десяти. На заседаниях произносились речи о творцах изящной словесности, о древней и новейшей поэзии, а потом читали собственные сочинения. Председатель устанавливал черед ораторам, предлагал на утверждение инспектору темы речей.

Случались и особо торжественные Собрания. Юных гениев слушали Дмитриев, Нелединский-Мелецкий, Кокошкин, Василий Пушкин. Однажды пансион соблаговолил почтить присутствием Николай Михайлович Карамзин. Приветственную речь знаменитому гостю Антон Антонович доверил лучшему из лучших – Жуковскому. Но у лучших тоже случаются худшие минуты.

Василий Андреевич не скупился на слова самые высокие, громокипящие, но – боже мой! – сердце отгородилось от ума каменной стеною. Слова мертвели уже на губах оратора и сыпались, сыпались, как сожженные на свече бабочки.

Карамзин был в манишке снежной белизны под самый подбородок, на лице, как припечатанная, – благосклонность. Волосы прибраны с такою тщательностью, что были похожи на парик. Высокое чело такого светоча – это понятно – смертной суеты не ведает, но в черных глазах ни пронзительности, ни огня – не пускают в себя, а печальнее всего – не принимают окружающего.

Жуковский неприятие сие углядел и посчитал речь свою провалом. Антон Антонович однако ж Собранием остался доволен. Карамзин одобрил стихи Родзянко и, прощаясь, поклонился Жуковскому:

– Сказанное вами о моих дарованиях десятью томами не оработаеть.

Насмешник Саша Тургенев теперь чуть ли не каждый день спрашивал друга:

– Как думаешь, какой том нынче пишет Карамзин?

А писать тома приходилось самому Жуковско-

му. Мерзляков, зная, сколь горестно для гордой юности безденежье, отвел товарища к Зеленникову, и самый известный в Москве книготорговец, заодно и книгоиздатель, заказал Василию Андреевичу перевод четырехтомного романа Августа Коцебу. Роман назывался «Младенческие мои причуды», но Жуковский дал ему иное, в духе времени, заглавие: «Мальчик у ручья, или Постоянная любовь». У этой книги будут читатели и почитатели. Она, как и повесть «Королева Ильдегерда», – следующая переводческая работа Жуковского – станет любимым чтением в семейном кругу дворян России.

Но все это будет чуть позже, а в июне 1800 года Василий Жуковский сдал выпускные экзамены, был признан лучшим учеником и удостоен именной серебряной медали. Имя Жуковского выбили на мраморной доске Благородного университетского пансиона.

Александр Тургенев на доску не попал, но был принят юнкером Главного архива коллегии иностранных дел.

Гордость пансиона, медалист Жуковский, тоже без места не остался. В звании городского секретаря его определили в бухгалтерский стол Главной Соляной конторы.

На соли ловкачи умели делать состояния, но ведь не в бухгалтерском столе и уж, конечно, не сочинители стихов.

Мария Григорьевна, довольная успехами Васеньки, прислала ему в награду тридцать пять томов «Энциклопедии» Дидро и подарила для услуг человека. Стал Василий Андреевич Жуковский крепостником, владельцем души. Душа сия Максим Акулов, мужик двадцати лет от роду, был деловит, умел и неразговорчив.

Из пансиона Василий Андреевич, слава богу, вышел не на улицу – поселился у родни в доме Юшковых.

В Москве встретил XIX столетие. Все было грядущим, грядущим да и грянуло.

## ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК

Сакральные имена XVIII столетия в России: Петр и Павел. Петром началось, кончилось Павлом. Петр и Павел – Верховные Апос-

толы. Петр — камень, Павел — малый. Государь, названный Петром Великим, камень в сердце России, камень и на ее вые.

Началось с великого, кончилось малым.

Чудовищные мерзости и надругательства Гоги и Магоги над Россией выродились в карликовую опеку над правящим сословием и над самой жизнью. Оба императора российских — антиподы Верховным Апостолам. Петр и Павел для истории России — обезьяний хохот над Боговым.

Россия знала рабство и христоотступничество, умывалась собственной кровью и своими же слезами, но не было времени для нее постыднее и гаже XVIII столетия.

Зачин века — детоубийство. Петр, не сумевши развратить сына и страшась осуждения содеянного над Россией, казнил единственного наследника крови Романовых, русской крови, да к тому же и Церковь замарал, заставив благословить детоубийство.

Алексей — защитник. И здесь мистика. Защитника лишили русский народ.

Венчает XVIII век — отцеубийство. Пьяная свора гвардейцев, сподвижников Александра по заговору, задушила Павла. А какова сердцевина столетия?

Мужеубийство. Императрица Екатерина руками Алексея Орлова задушила супруга, императора Петра III. Ну как же ей быть не великой — Великая!

Незабвенно и еще одно царубийство: Иоанн VI был посажен в крепость шести месяцев от роду. Зубки у него в тюрьме резались, в тюрьме сделал первый шаг. Убит тюремщиком, исполнившим тайную инструкцию царствующего Петербурга.

А сколько было свержений?

Петр скинул с престола сестру Софью. Дочь его Елизавета захватила власть у правительницы Анны Леопольдовны, матери Иоанна VI. Екатерина восстала против Петра III, Александр дал согласие на смещение Павла.

Все это творилось в Петербурге. Сей город — зарок Петра, но кому зарок?

Бездонные болота под городом забиты гатью, возможной в одной только России. Петр соорудил гать из народа русского, из костей мужи-

ков. Фундамент Петербурга — мученики, а сама гать — прообраз подобных гатей в тундре, где через двести пятьдесят лет строили железную дорогу в царство Всемирного Счастья.

Те, что в земле, забываются быстро, а диво-город вот он, венценосное диво, но ведь проклятое!

И стал Петербург химерой, сожравшей русское самодержавие. Химера разинула пасть и на православный народ, жрала его, жрала, силясь покончить и с народом, и с Православием — Бог не попустил.

Ниспровергать величие Петра нелепо, но надо хотя бы знать, какую цену заплатила Россия за это величие.

Вот наследие Петра: население империи сократилось на четверть. Преобразовал армию. Под Нарвой, имея тридцать пять тысяч европейски устроенного войска против восьми у Карла XII, артиллерию, превосходившую шведскую числом и огневой мощью, был разбит наголову. Разбит до сражения. Одно дело рубить головы стрельцам, которые сами себя дали повязать, и другое — сражаться в поле с героем. Герою Карлу под Нарвой было восемнадцать лет, Петру — двадцать восемь. Юноша и муж, но муж бросил армию и бежал, прятался от шведов под кроватью рожаящей чухонки.

Через три года Петр снова спасался от Карла бегством. Имел всего лишь тройное превосходство в солдатах и сто пушек, отлитых из церковных колоколов. А потом был Прут. Перед янычарами великий полководец впал в такое малодушие, что предписал Шафирову вернуть Карлу Прибалтику, исключая один-единственный Петербург, султану возвращал Азов, весь свой флот отдавал и соглашался срыть южные крепости, включая Таганрог. Слава богу, мудрый еврей Шафиров подкупил златолюбивых турецких пашей и, удержав Прибалтику, отдал Азов и не весь флот, а только половину.

Но была и Полтава! Орлы гнезда Петрова разбили оголодавшее, измученное авантюристическим походом войско Карла XII, забравшееся в глубины Русской державы. Вопрос тут один: что дала России эта прославленная в веках победа? Звук торжествующей трубы. Война же после Полтавы длилась еще двенадцать лет.

Петр почитается создателем отечественной промышленности. Он построил 222 мануфактуры, но умер, и мануфактуры его приказали долго жить.

С бешеной энергией Преобразователь стремился быть всему началом и главою. Прежде всего покусился на образ русского человека, на образ его жизни, хватал за саму душу, лепил из нее угодное себе. Душа России — Православие. Убить душу невозможно, и Петр пленил ее.

Всё делалось с размахом. Первый акт черной мистерии — снятые с церкви колокола. Небо над Россией было отдано духам зла. (Вспомните Хрущева. При нем умолкли колокола даже на последних уцелевших церквях — и через тридцать лет Россия оказалась во власти экстрасенсов.)

Вторым деянием Петра по уничтожению Православия был его Всешутейный Всепянейший Собор с шутом-патриархом во главе. Шутовство закончилось уничтожением Российского Патриархата. Петр сам стал Церковью, изобрел обер-прокуроров, которых не надо было посвящать, а только назначать. Иные из назначенцев даже и не скрывали своего безбожия.

Петр ненавидел все русское, а потому народ для него был рабочим скотом. Оговоримся, рабство народа Преобразователь видел как государственное. Мужиков гоняли и гноили для нужд Великой Империи Российской (будто народ не империя).

Страшась даже тени казненного сына, Петр, чувствуя близкую смерть, не пожелал назвать наследником Петра Алексеевича, отрока, внука кровного, оставил блуднице престол. Но если Екатерина I самодержица из блудниц, то Екатерина II Великая была уже блудящая императрица. И рабство при матушке Екатерине стало не государственным, но личным.

Кстати сказать, Петр Великий и супруга его Екатерина Алексеевна нарожали «сукиных детей». Именно так официально писались в документах незаконнорожденные дети, появившиеся у супругов невенчаных или же до венчания, как в случае Петра и Екатерины.

Первая дочь их умерла в младенчестве. Вторая, Анна, была любимицей Петра. Ее склонялся назвать наследницей престола. Ставши герцогиней

голландской, Анна родила Карла-Петра-Ульриха — будущего императора Петра III. Стало быть, и на нем сие сучье проклятие.

Третья «сукина дочь» Петра — Елизавета — императрица России.

Восемнадцатый век в Отечестве нашем — век царствующих женщин. Екатерина I, Анна Иоанновна, правительница Анна Леопольдовна, Елизавета, Екатерина Великая — стояли у власти 70 лет из ста.

При Екатерине I государством вертел, как девкою, Александр Данилыч Меншиков. О России ему думать было некогда, искал как в лихорадке возможность добыть престол для своего потомства.

Анна Иоанновна — человек русский. Воспитанная в Измайловском дворце шутами матушки своей царицы Прасковьи и немцем Иоганном Остерманом, братом всесильного Генриха Остермана, звавшегося Андреем Ивановичем, Анна Иоанновна двадцать лет жила в Миттаве, именуясь герцогиней курляндской. Вдовую она стала сразу же после свадебных пиров. Супруг ее не перенес петербургского похмелья, умер по дороге домой.

На царство нищую герцогиню на условиях «Кондиций» позвали «верховники». Статьи «Кондиций» уничтожали в России самодержавную власть. Императрица лишалась возможности не только управлять страной, но даже жаловать свое окружение придворными чинами.

Гвардейцы вернули власть новой государыне. Вот почему Анна Иоанновна ненавидела «верховников», а заодно всю русскую аристократию. Опасаясь переворота, она окружила себя немцами. Страной правил Остерман, войны вел фельдмаршал Миних, за порядком в стране наблюдала Канцелярия Тайных дел и Бирон — ужас России. Не доверяя гвардии, Анна Иоанновна учредила Измайловский и Конный полки под командованием остзейских офицеров. Им-то и раздаривала русские земли с русскими мужиками. Символом правления Анны Иоанновны стал Ледяной дом. Из добрых ее дел — семинария на тридцать пять человек при Академии наук, школы в полковых гарнизонах для детей солдат и мелкого дворянства да указ о сбережении лесов.

Елизавета Петровна вернула Россию русско-му дворянству. Но вот она, глубина ума ее: президентом Академии наук назначила брата своего любовника, восемнадцатилетнего Кириллу Разумовского. Образования у президента — год вояжа заграничного.

Об ограблении народа говорить не станем. На балах при Елизавете зажигали разом тысячу двести свечей, а балы два раза в неделю. На всякий бал приглашалось четыреста дам в бриллиантах, ибо в хрусталях и дешевых камешках появляться пред очи императрицы воспрещалось государственным указом.

Символ правления Елизаветы: 13 тысяч платьев, сгоревших вместе с Зимним дворцом, и 16 тысяч пошитых заново.

Екатерина Великая приобрела для России Крым, Польшу и, угождая дворянству, превратила крестьянина в вещь. Надругалась над Христом, ибо православные продавали православных, выменивали на собачьи своры, засекали до смерти каприза ради. Что же до нравственности, то в народе рассказывали и до сих пор рассказывают: царица-матушка, недовольная фаворитами и гвардией, — померла под жеребцом.

В наши дни, как и положено в годы государственных переломов, развелось множество извратителей истории. Снова восхваляют Екатерину Великую, годы правления которой даже Пушкин признал позором русской государственности.

Находят положительное в правлении Петра III, пустившегося во все тяжкие насаждать в России неметчину. Кому Петр III понастоящему дорог, так старообрядцам: единственный из государей, кто уравнивал в правах прихожан официальных церквей с исповедниками староотеческого обряда.

Все громче и настойчивей — особенно в драматургии — возносятся хвалы императору Павлу.

Так давайте вспомним, с чего началось его царствование: с приказа надраивать до сияния пуговицы на мундирах. С запрещения русской упряжи и предписания полиции через 15 дней резать постромки. Перечислим только некоторые из реформ Павла Петровича. Указ срывать и

резать круглые шляпы. Запретить ставить на окна цветы, если на окнах нет решеток. Запретить выпускать на улицу собак. Запретить ездить быстро. Запретить кареты. Запретить отложные воротники, фраки, жилеты, сапоги с белыми отворотами. Запретить дамам носить синие юбки с белыми блузками. Запретить бакенбарды.

А что Павел дал армии, кроме сияющих пуговиц? Букли и косы. Солдатам караульных полков приходилось всю ночь заплетать друг другу косы, а с косою да с буклями спать уже нельзя: помнешь. Так и сидели до начала вахт-парада. Первым же указом разогнал император Павел стотысячную армию, воевавшую с Персией, только потому, что ею командовал брат фаворита матушки Екатерины Валериан Зубов. Всем полкам назначены были новые квартиры в разных губерниях России. Особенно «повезло» драгунам, получившим предписание из-под Баку следовать в Иркутск. Что же до военной стратегии, до тактики... Гатчинец Клейнмихель, бывший лакей генерала Апраксина, преподавал порядок строевой и караульной службы — фельдмаршалам Екатерины.

Поклонники Павла могут с полным правом назвать своего кумира еще и реформатором русского языка. Прежде всего в военных командах: вместо русского «ступай» — приказано было говорить «марш», вместо «заряжай» — «шаржируй», «взвод» заменило слово «плутонг», «отряд» — «деташемент», а пехоту при Павле называли инфантерией. Подверглось запрету слово «магазин». Магазины стали лавками.

Цензорам приказано было вычеркивать слово «обозрение», меняя на «осмотрение», врачи стали лекарями, граждане — жителями. «Отечество» настрого заменялось «государством». У знаменитого драматурга Августа Коцебу в драме «Октавия» убрали слово «республика», в комедии «Эпиграмма» цензура посчитала вредною фразу о том, что «икру получают из России, Россия страна отдаленная». В другой его пьесе влюбленный сапожник вместо слов: «Я уезжаю в Россию, говорят, там холоднее здешнего» после правки цензора произносил несколько иное: «Я уезжаю в Россию: там только одни честные люди».

Павел и в дворцовом этикете произвел рефор-

му. Было указано всем целующим руку императора стучать об пол коленом с такою же силой, как солдат ударяет ружейным прикладом. Губами при этом полагалось чмокать, чтоб слышно было! А на балах танцоры обязаны были при всех фигурах лицо свое обращать к государю.

Мелочи? Но из мелочей и состояло правление Павла Петровича. А из немелочного? Ввел наказание плетью выведенных из дворянства преступников, запретил принимать коллективные жалобы от тех же дворян. Но стесняя вольности высшего сословия, Павел Петрович об угнетенном народе даже не вспомнил. Куда там! В первые же месяцы своего правления раздарил шестьсот тысяч свободных крестьян, умножив рабство.

Таков он, XVIII век в России. Народ, слава богу, выжил. Что же до культуры... Наши хваленые дворяне преобразовались до такой степени — от языка своего природного отrekliсь, посчитали за неприличие. Литература пошла по долгому пути, подражая античности, французам, англичанам, немцам. А ведь уже в XVII веке у нас был Аввакум, знавший премудрости богословия, но писавший о жизни, и слово его русское было и бичом, и пресветлою хвалою прежде Богу, а потом и красоте русской земли, русской душе.

Таков он, XVIII век, на земле нашей. Да Бог милостив. Пушкин родился в восемнадцатом.

## ВСТРЕЧА XIX СТОЛЕТИЯ

Со времен Петра Новый год в России — праздник греха. В строгую, в последнюю неделю Рождественского поста — веселие, пляс, скоромная еда, пьяное питье, елка.

— Народ барского праздника не признает, — сказал Жуковский, целуя ручки сестрицам Соковниным: Катеньке, Аннушке, Вареньке. — В огнях дома знаменитые, а на иных улицах окна сплошь темны.

— Жуковский, ты всегда усматривал такое, мимо чего большинство ходит не задумываясь.

У стены, возле мраморного столика с вазой, стояла незнакомка. Просяное золото густых волос, огромные синие глаза, лицо нежное, белое, ласковое.

Василий Андреевич смутился.

— Фраза моя словно бы заготовленная... Но меня поразили темные окна. Час-другой — и мы все станем обитателями девятнадцатого века. Вы представьте себе. Вместо пяти знаков только три — десять, единица, десять. Нам откроется сокровенное, а мы не поймем, о чем нам всем сказано.

— Василий Андреевич, вы меня не узнаете! — юная дама засмеялась, подошла и расцеловала изумленного мудреца. Тут-то он и прозрел:

— Маша!

Это была дочь Николая Ивановича Вельяминова и его сводной сестры Натальи Афанасьевны. Друг мишенского детства.

— Боже мой! — не мог прийти в себя Василий Андреевич. — Мы не виделись... четыре года... Мария Николаевна!

Красавица улыбалась, затаивая быстрые вздохи.

— У меня сердце бьется... Ты, Васенька, тоже... не тот. Ах, что я говорю! Тот же самый! Но все чудесное в тебе стало совершенным.

— Маша, я эти же слова сказал о тебе, не смея произнести вслух.

— А ты произнеси!

— Помнишь, у бабушки! Портрет Натальи Афанасьевны? В тебе все то же, но все ласковее.

— Почему ты не едешь к нам?

Василий Андреевич вспыхнул, опустил голову. Место в Соляной конторе он получил хлопотами Вельяминова. Николай Иванович — член правления конторы. Но у молодости суд, не знающий пощады. Вельяминова Василий Андреевич почитал за человека бесчестного: его чины и деньги — милости тульского губернатора Кречетникова, вернее, плата, позорнейшая... Кречетников в открытую жил с Натальей Афанасьевной, Авдотья Николаевна и Марья Николаевна... были его дочерьми. Одна Аннушка истинно Вельяминова. Не потому ли Николай Иванович годами не бывал в Мишенском.

— Васенька, ты такой же, как у бабушки, — шепнула Мария Николаевна. — Ты приезжай ко мне, Гюон к Шеразмину.

— Вы разговариваете тайным языком, как влюбленные. Ничего не поймешь! — Варенька надула розовые губки. — Жуковский! Вы так

умно сказали про темные окна, но не потому ли они темны, что народ наш темен. Да, пост, грех! Но ведь Новый год! Новый век!

— Новый год в январе — немецкий праздник. Нас всех превратили в немцев. Новолетие для русского народа — день Симеона Столпника. Это ведь так естественно. Урожай к первому сентября собран. Отдых земле, природа готовится к обновлению.

— Жуковский! Жажду ваших стихов, ваших пророчеств на новый век! — старшая из Соковниных, Екатерина Михайловна — насмешница, но насмешница любящая.

— Пророк у нас Андрей... Стихи я, верно, сочинил, но на прошедший век... Последнее время я читал Тибулла. Мои стихи к Тибуллу.

— Подождите, не читайте! Вашими стихами мы прощаемся с XVIII столетьем, веком наших неподражаемых изумительных бабушек.

— С веком великой огненной бури! — в залу вошли Тургеневы, Андрей и Александр.

Все промолчали: сказано о запретном, о французской революции. На мгновение глаза у Андрея стали злыми.

— У меня лопается терпение, скорее бы минул и этот мерзостный век, и сей год позора России.

— Андрей Иванович, бог с вами! Какой позор вы напридумывали себе? — умница Екатерина Михайловна смотрела кротко и уж так была хороша!

Андрей прикрыл глаза веками, длинные ресницы дрожали, как у обиженного мальчика.

— Вы хотя бы историю с Коцебу вспомните! — И снова сверкнул глазами. — Мы живем в эпоху Августа Коцебу, а как с ним обошлись?

Хватающие за душу драмы Августа Коцебу заполнили театры европейские, а коли так, то и петербургские, и московские.

Будучи директором Венского театра, Август Коцебу приехал в начале года в Россию. В свои двадцать лет он жил в Петербурге, служил секретарем при генерале Бауэре. Свадьбу сыграл тоже в Петербурге, взял в жены дочь генерала Ф. Эссена. Кстати сказать, помимо тестя Коцебу России служили генерал-лейтенантами еще трое Эсенов: Иван Николаевич был каменец-подольским губернатором, Александр

Александрович — шефом Черниговского полка, Петр Кириллович — Выборгским военным губернатором... И, несмотря на такое родство, по крайней мере свойство — писатель Коцебу едва пересек русскую границу, как был схвачен и без суда, без каких-либо объяснений упечен в Тобольск. Расправы с писателями Россия переживает болезненно. Но на престоле восседал Павел. Всё кончилось шутовством. Император пришел в восторг от пьесы Коцебу «Лейб-кучер Петра Великого», и опальный писатель стал желанным. Его примчали в Петербург и пожаловали в директора Немецкого театра.

— Ваш любимец устроен и обласкан, — беря Андрея за руку и усаживая за клавесин, сказала строгая Варенька. — Государь Павел Петрович, слава богу, любит искусства.

— И даже сверх всякой меры! — смеясь, Андрей вырвал из клавесина нечто бурное и нелепое. — Чего стоит указ от 25 апреля сего — господи! — уходящего наконец-то года. «Представления в публичном театре не должны продолжаться более восьми часов вечера». А начало — в пять! Укладывайтесь, господа артисты, но спектакль по-прежнему должны составлять: драма и балет; опера и водевиль; водевиль, трагедия и дивертисмент.

— Между прочим, — сказала Варенька, — Павел Петрович подарил сочинителю Николаеву трость с золотым набалдашником в бриллиантах.

Андрей грянул марш «Гром победы раздавайся». Варенька положила руку на руку Андрея.

— Не надо так. Я хочу петь.

Андрей улыбнулся, заиграл иное, спросил глазами: «это?» Варенька вздохнула, погрузилась, и голосок ее пошел, пошел по сердцам, как птичьи лапки ходят по подоконникам в дождик.

*Стонет сизый голубочек,  
Стонет он и день и ночь...*

Вместе с хозяином дома, Сережей Соковниным, однокашником Жуковского, приехал Андрей Кайсаров и почти тотчас Алексей Мерзляков.

Варенька даже заскакала от радости:

— Играть! Играть! Милый Мерзляков, открывайте ваш сундук с народным добром.

— Варенька, господь с вами! Я знаю детские игры.

— А мы и есть дети! — обняла Вареньку Мария Николаевна. — И даже младенцы.

— Младенцы неведомого, но прекрасного века! Господа! Пусть новый век будет прекрасным! — вопила Варенька.

— Ну, не знаю! — развел руками улыбающийся Мерзляков. — Есть игра «Ох, болит!».

— Давайте! Давайте! — Варенька хватала всех за руки, собирая в круг.

Игра оказалась простой, но со смыслом. Все назвались цветами. Первой охать досталось самой Вареньке — Ромашке.

— Ох, болит! — закатила глазки Варенька.

— Что болит? — спросил Подсолнух — Мерзляков.

— Сердце.

— Да по ком же?

— По Черному Тюльпану.

Андрей Тургенев занял Варенькино место в кругу.

— Ох, болит!

— Что болит? — спросил Подсолнух, ведший игру.

— Вся грудная клетка разрывается.

— Да по ком же?

— А по Жуковскому — ему стихи надобно писать, а он чужую прозу переводит.

— Не дело! Не дело! — рассердилась Екатерина Михайловна. — Цветок назовите!

— Цветок? — вздохнул Андрей. — Жуковский, ты Вишня. Вишня — жизнь моя, но цветок, растущий в моем сердце, — Незабудка.

Незабудкой была Екатерина Михайловна.

Сердце Саши Тургенева — Одуванчика — заняла Кувшинка, розоволикая Аннушка.

Играли в змейку, в Башмачника.

Башмачником сначала был Мерзляков. Огромный, сидел он на крутящемся стульчике посреди круга, изображал, будто шьет сапоги, припевал:

— Хорошенькие ножки, хорошенькие ножки! Примерьте-ка сапожки!

И норовил схватить крутящихся перед ним игроков. Да так и не поймал никого.

Сыграли в ворота. Вратарями были Андрей и Жуковский. Играющие гуськом шли под своды соединенных рук и пели:

*Шла, шла тетеря!*

*Шла, шла, рябая —*

*Курица слепая:*

*Она торщицалась,*

*Натугарилась.*

Перед последним руки опустились, а последней оказалась Маша Вельяминова.

— К соболю или к горностаю? — спросил Андрей.

Маша уперлась смеющимися глазами в Жуковского, гадала:

— К... горностаю!

— Это ко мне, — и Андрей забрал свое.

Допрос производился шепотом, и получилось, что все, кроме Саши Тургенева, выбрали горностаю. Тут-то «ворота» и объявили свои настоящие имена: горностаю был адом, а соболю — раем.

— Ужас! Ужас! — ахали Маша и Варенька. — Мы все в аду!

У Аннушки глаза были испуганные.

— Но ведь это и вправду ужасно. Давайте играть в смешное.

Сыграли в почту.

— Динь, динь, динь! — вопил Сережа Соковнин.

— Кто там? — спрашивал его Мерзляков.

— Почта.

— Откель?

— Из города Немирова.

— Как у вас в Немирове блохи скачут?

Всем играющим пришлось скакать по-блошиному, но Екатерина Михайловна блохою быть не захотела. С нее взяли фант. А когда разыгрывали фанты, ей выпало быть зеркалом, и, чтобы вернуть себе чудесный перстень с ярым огоньком золотистого сапфира, Екатерина Михайловна, сердясь и смеясь, повторяла кривляния Вареньки, поглаживала «ус» за Андреем, побряхтывая, садилась в кресло, отпыхивалась, как это показывал толстяк Мерзляков.

Наконец сели за пиршественный стол. «К



Тибуллу» Жуковский читал с бокалом в руке, стихи — проводы века.

*Он совершил теченье  
И в бездне вечности исчез...*

— Слава богу! — крикнул Андрей.

*Могилы, пепел, разрушенье,  
Пучина бедствий, крови, слез —  
Вот путь его и обелиски!*

Дамы насопились: уж очень это серьезно и совсем не для праздника.

*Тибулл, все под луною тленно!..  
Тибулл, нам в мире жить не вечно...  
Тибулл, нельзя, чтобы природа  
Лишь для червей нас создала, —*

вещал Жуковский и кончил тоже превесело:

*Любя добро и мудрость страстно,  
Стремясь друзьями миру быть,  
Мы живы в самом гробе будем!*

— Да, люди смертны, смертны, но при чем тут Тибулл? — капризно кривила губки Екатерина Михайловна.

— Тибулл — поэт не из великих, — объяснил Андрей, — но, живя в эпоху блистательного Августа, сей пиит ни единого раза не обмолвился о государственных делах. Август насаждал римское благочестие — тиранию для всего мира, а у Тибуллы благочестие — бедность и все прочие римские мерзости. Его грезы о любви — скорбь, его мечтания и жуть жизни — несовместимы.

— Замрите! — крикнула Варенька.

Стало слышно, как в часах что-то вздохнуло, заскреблось, и пошли звоны, отбивая то ли последние мгновенья XVIII века, то ли первые XIX.

— Ура! — вскочил Андрей. — Мы дожили до нашего времени! Оно — это мы!

Выпили шампанского, перецеловались. Пошли подарки.

Свой перевод гётевского «Вертера» Андрей посвятил... Вареньке. Варенька была охотницей до чтения. Впрочем, без хитрости тут тоже

не обошлось: родители Екатерины Михайловны увлечения дочери Тургеневым не одобряли. Сын опального масона, книжный человек — не пара столбовой дворянке.

Александр поднес Анне Михайловне свой перевод комедии Августа Коцебу «Несчастные» — в сафьяновом переплете, — а всем гостям — билеты на представление в театре Медокса.

Дамы целовали удачливого драматурга, Саша раскланивался, а потом указал обеими руками на Жуковского:

— Сегодня на коня взгромоздился Тургенев Александр, а завтра на сем одре ехать Жуковскому. Медокс принял к постановке переведенную нашим другом комедию «Ложный стыд» того же Коцебу. А Мерзляков с Андреем переводят «Коварство и любовь», «Разбойников», «Дон Карлоса»!

— Девицы! Красавицы! — воскликнула Екатерина Михайловна. — Это же чудо! Все наши кавалеры — будущие знаменитости.

— Мы и теперь... немножко, — картинно вскинул голову Андрей.

Пели, танцевали. Жуковский, почитая себя неуклюжим, пытался отсидеться, но Машенька Вельяминова не отступила.

— Васенька, — говорила она, едва раскрывая розовые губы. — Васенька! Я тебя любила все мое детство. Ты завтра же, завтра приедешь к нам.

— Господа! Не пора ли погадать о новом веке? — предложил Сережа Соковнин.

— Стоит ли гадать в сим доме? — возразил Мерзляков. — Предки Соковниных — заступники России у Престола Всевышнего. От мучениц — боярыни Федосьи Морозовой да от сестрицы ее княгини Евдокии Урусовой — урожденных Соковниных — наша Церковь отгородилась. Раскольницы! Но праведное стояние за веру отцов до конца — царь Алексей Михайлович сестриц голодом уморил — подвиг. Се подвиг русского духа.

— А откуда они в России, рабы-то, взялись? — вскипел Андрей. — Все оттуда же, господа! Народ наш, может, и русский, но другой, другой... Истинные русские люди — сожгли себя, не принимая царских указов, как им Бога молить о спасении.

Примолкли. Жуковский показал на пирог в середине стола.

— А все-таки мы — русские. Даже я, сын пленной турчанки. Век впереди — не худший. Худшее пережито...

## МУНДИР И ФРАК

**П**ять часов утра. На окнах звезды, за окном — тьма. Москва зимой медведем отсыпается за красное летечко. Тишина мишенская.

Василий Андреевич зажигает все три свечи, садится к столу.

Вчера перед сном, сожалея, закончил чтение шестого, последнего тома «Дон Кишота» Михаила Серванта. Как знать, что было у Серванта по-испански, но французская переделка Флориана — впечатляющее творение. В предисловии Флориан о герое Серванта говорит лапидарно и точно: сумасшедший делами, мудрец мыслями. Весь в своего творца. Господи! Простейшая история! Начитавшись книг, искренний сердцем человек впал в детство. Дети, играя, ушибаются. Дон Кишот ушибается в каждой главе. Страдает его нескладное тело, а больно читателю. Бессмертная книга!

Душа у Василия Андреевича пульсирует, готовая объять Вселенную. Душа-то велика, да человек мал. Где оно лежит, простое и вечное, о коем он, Базиль Жуковский, мог бы поведать всему белому свету? В камне подобное сказание имеется в Москве: храм Василия Блаженного! Написать эпопею о юродивом, а через него о русском юродстве? Пожалуй... Однако ж тут так много церковного, так много низкого... Достижима ли в подобном сюжете величественная высота, коей служит поэзия?

Василий Андреевич обмакивает в чернила перо, но белый лист ослепительно чист. Прикоснуться к бумаге невозможно. Слово без великой мысли, без упоительного чувства — пустоцвет.

Василий Андреевич открывает тетрадь с дневником и на последней странице выводит: Базиль де Жуковский, Базиль де Жуковский...

— Учиться, друг! Учиться!

Придвигает к себе третий том «Принципов литературы». Шарль Баттё. Карамзин

признался, что сия книга у него настольная.

Увы! Глаза бегут по строчкам, а душа далеко.

— Измыслить великое творенье невозможно! — он почти кричит на самого себя. — Великие творения — Божий дар!

Ходит по комнате, водит пальцем по тропическим ледяным цветам на окне.

Андрей Тургенев твердит: русская история — материк, не выдавший парусов Колумбовой эскадры. Херасков, Княжнин, Озеров — не история, а вздохи по поводу. «Наталья — боярская дочь» — всего лишь сентиментальная барышня в шубе XVII века.

В Андрее кипит соперничество. Он убежден: Карамзина необходимо затмить! Ради русской литературы затмить. Однако ж Карамзин принял за эпопею об Илье Муромце. Пока писатель жив, у него все впереди.

Сам Андрей бредит эпопеей о Несторе-летописце. Андрею много дано. Его Нестор может прославить не только Тургеневых, но и всю русскую литературу. Но ты-то что можешь, Жуковский? Бесплодная Соломония Сабурова, якобы родившая в монастыре старшего брата Ивана Грозного? Евпатий Коловрат? Равноапостольная княгиня Ольга?..

На душе тоскливо. Утро не одарило ни единой строкой.

Рука тянется к матушкиному письму. Письмо принесли неделю тому назад, привез Максим Акулов — дар Марии Григорьевны, его единственная собственность. Письмо с укорами, но Василий Андреевич читает матушкины наставления как молитву. «Посылаю при сём с Максимом денег 50 р., из коих я приказывала купить мне зайчий мех и ножичек, а оставшие — тебе. Да при отъезде моем оставила я тебе 15 р., и у тебя было еще столько же, почему и полагаю я достаточно для тебя будет для исправления твоих нужд. А советую и прошу тебя, друг мой, оставить мундир свой делать до приезда нашего. Это прихоть, Васенька, не согласующаяся с твоим состоянием».

Всякий раз, дочитав до слов: «Не мотай, пожалуйста», в сердце у Василия Андреевича вскипает обида, и он откладывает письмо.

Дело не в мундиришке. Тот, что ему положен, — сплошное унижение. Не на всякий по-

рог в таком-то пустят. Для матушки мундир — это фрак. Да так оно и есть. Возможно ли явиться в театр в чиновничьем постыдстве? Или к Соковниным? Что же до Марии Николаевны... Ей, слава богу, не мундир дорог, но ее батюшка Николай Иванович — его высокое начальство. Потому-то и невозможно приезжать к Вельяминовым в мундире подчинения. Фрак — иное дело. Фрак — одежда равного.

Прогоревав обиду, Василий Андреевич дочитывает письмо. «Отъезд твой в Петербург не принес бы мне утешения, — обрезает матушка сыновьи крылья. — Ты, мой друг, уже не маленький. Я желала бы, если бы ты в Москве старался себя основать хорошенько. В нынешнем месте твоем найти линию к дальнейшему счастью. Мне кажется, зависит больше от искания. Можно, мой друг, в необходимом случае иногда и гибкость употребить: ты видишь, что и знатней тебя не отвергают сего средства».

Благодетель Николай Иванович как раз из тех, кто не только не отвергал гибкости в искании счастья, но саму честь и само счастье променял на чины, на доходы. Дела давно минувших дней, да знать не всякая «гибкость» изживается временем.

Василия Андреевича словно кипятком окатывает: Вельяминов — ладно, подлец из подлецов, дитя века, но Афанасий-то Иванович!.. — Бунин! Бунин! — Не на дуэль вызвал приятеля за позор дочери, должность принял как отступные... Попользовался...

Отворилась дверь. Пахнуло печным теплом. Максим принес барину кофею. Каравай нарезан огромными ломтями, может быть, чересчур толсто, но тесто воздушное. В хлебе живы запахи снопов. Ветчина с салом, но сало отменное, не твердо и не мягко — удовольствие молодым зубам.

На завтрак уходит пять минут, и Максим уже держит мундир.

В мундире человеку надлежит переменяться в соответствии с ранжиром, Василий Андреевич противится сему. В мундире он тот же самый, что размышлял о Дон Кишоте, о литературном бессмертии... А это беда!

Николай Ефимович Мясоедов — директор

Соляной конторы — ждал конторщика возле его стола. Жуковский удивился.

— Здравствуйте, Николай Ефимович!

— Будьте и вы здоровы, милейший. Припозднились...

— До начала занятий, — Жуковский показал рукою на стенные часы, — шесть минут.

— То-то и оно! За опоздание я бы спросил с вас... Шесть минут! Милейший, у вас такое постное лицо, будто пожаловали отбывать повинность. Этак можно всю жизнь просидеть в чиновниках тринадцатого разряда.

— Как бог даст, — Василий Андреевич поглядел на Мясоедова, и так поглядел, будто на нем фрак, а не мундиришко.

— Трудитесь, Жуковский! Или вы будете выжидать? Ведь до начала службы целых три минуты.

— Как прикажете, Николай Ефимович.

Ненависть пучила глаза директору. Безродный, без гроша за душой мальчишка не то чтобы угодить или выказать старание — даже поклониться как следует не желает! Ломать этаких, в дугу гнуть! Ради самой государственной пользы. Все это — французская дурь!

Через час директор прислал забрать на просмотр бумаги, писанные Жуковским.

Оплошности не сыскали, но выговор был неизбежен. Николай Ефимович изрек:

— За столь медлительную работу жалованье надо бы платить половинное.

Соляная контора, Соляная контора! Горы соляные, соль на горбах, соленая земля, соль земли.

День прожит, как убит.

Часы отбивают заветное, умолкает скрип перьев. Свобода.

Свобода создана для счастья. Заскочив домой, Василий Андреевич мчится на Девичье поле, к Александру Воейкову — новому другу Андрея Тургенева, а стало быть, другу Жуковского и Мерзлякова.

## ПИСАТЕЛЬСКАЯ ПОРОСЛЬ

Руку Воейков пожал ласково, почти вкрадчиво, но глазами смерил, кажется, саму душу — ровня ли?

Экзамен был выдержан, но у Василия Андре-

евича заплыла уши. Он всегда страдал за людей, напускающих на себя как величавую неподступность, так и юродство покладистости, «играющие» и даже «играющие» неосознанно были для него стыдом не за кого-то, а за себя. Ему приходилось мириться с этой унижительной нарочитостью. Провинциальная глазастость в родстве с провинциальной застенчивостью превращали его в беспомощного недоросля.

Воейков открывал перед Жуковским дверь за дверью с усмешечкой: «Мои апартаменты», но перед обитой багряно-темной кожей запнулся, на лице явилась почтительность. Подмигнул однако ж запанибратски:

— Святая святых!

Василий Андреевич поймал себя на том, что в «святая святых» он не вошел, а вступил, и было отчего: позлащенные стены, потолок багрово-темный, на багрово-темных диванах, придвинутых с двух сторон к багрово-темному непокрытому столу, восседало будущее российской словесности. На одном диване — Тургеневы, Андрей и Александр, на другом — Алексей Федорович Мерзляков и Андрей Кайсаров.

Все посмотрели на Жуковского, словно ожидая от него облегчения их общей участи.

— Василий Андреевич! — Мерзляков показал место возле себя.

Перед ним лежали размашисто исписанные листы, суетными руками он всё дотрагивался до бумаг и, видимо обжегшись, потирал ладонью ладонь. Андрей Тургенев сидел, сдвинув брови, полуприкрыв пушистыми ресницами глаза. Казалось, понял наконец-то важное, обязательное для всех, и теперь сосредоточенно искал нужные слова.

Александр приветствовал однокашника подняв руку, растопырив пальцы, но оробел и принялся тереть бант на груди.

Они все робели. Человек не может оставаться тем же самым, когда творит историю.

— Однако ж, все в сборе! — сказал наконец Воейков. — Сколько понимаю, прежде чем приступим к делу, надобно избрать председателя.

— Наш председатель — Мерзляков! — объявил Андрей Тургенев.

— Да почему же Мерзляков? — возразил Алексей Федорович.

— Ты среди нас самый старший.

— С именем! — поддакнул Александр.

— У Жуковского дюжина публикаций.

— Алексей Федорович! — Жуковский отчаянно всплеснул руками.

— Голосуем за Мерзлякова! — Воейков поднял руку. — Четверо из пятерых «за».

Председателю — 23, Андрею Тургеневу — 19, Кайсарову — 18, 17 — Жуковскому, 16 — Александру Тургеневу, хозяин дома Александр Федорович Воейков был ровесником Мерзлякова.

Не всякое молодое поколение думает о будущем страны. Поколение Жуковского — и думало, и мечтало. Но важнее другое. Приходит страшный час, и молодые, думающие о вечности и думающие об одном только куске хлеба, идут умирать за землю пращуров.

Мерзляков повздыхал, крикнул в кулак и поднялся.

— Объявляю первое заседание «Дружеского литературного общества» открытым. На рассмотрение выносятся законы общества. Позвольте, господа, предоставить слово самому себе для оглашения оных.

Законы утвердили дружно. Всякое заседание открывается речью, в которой должно преобладать нравственное начало. Сочинения читает секретарь, анонимно. Первенство предоставляется сочинениям философским, далее политическим и, наконец, беллетристике. Прочитываются также в высшей степени полезные и важные работы иностранных и русских авторов. Девиз общества: «Отечество».

— Bravo, Мерзляков! — Андрей Тургенев вскочил, подал руку председателю. — Именно — Отечество. Русская литература из служителя самодержцев должна обрести статус служителя Отечества. Отечества, господа! Следующая ее ступень — быть литературой не токмо для народа, а литературой народа.

— Но это утопия! — Воейков даже ладонями хлопнул о стол. — Красота поэзии, величие высшего ее достижения — эпопеи — предполагают неоспоримое изящество форм и языка. Мужичье просторечье никогда не сможет подняться до поэтических небес. У мужика что на языке в постылой его жизни, то и в пес-

не. Поэзия иное! Познание истин мира, изысканный отбор слов, тончайшие оттенки смысла и чувства.

Лицо старшего Тургенева стало белым.

— Воейков! Поэты говорят языком, создатель которого — народ. От мужика — язык. Язык — детище мужицкое. Так что без просторечья, а мы его ах как презираем! — не было бы ни Овидия, ни Цицерона и уж тем более Гомера.

— Тургенев! Я на вашей стороне! — пылая щеками, по-птичьему вскрикнул Кайсаров. — Гомер из того же племени, что лирики в Малороссии.

— Производить Гомера в мужики? — Воейков хохотнул. — Опомнитесь, господа! Гомер великолепно разбирался в воинском искусстве. Возможно, он потерял зрение в одной из битв под стенами Трои. Жуковский, а что вы-то помалкиваете?

— Я слушаю. Я думаю...

— Так что же вы надумали?!

Василий Андреевич вздохнул, сдвинул брови.

— Речь не о Гомере... А вот каким языком должно говорить поэту — сама суть поэзии. Русский язык высшего общества убог.

— Bravo, Жуковский! — нежданно для всех обрадовался Воейков.

— Я не закончил мысли! — в черных глазах скромника полыхнула молния. — Не русский язык плох. Общество, предавшее родную речь, извращено продуманностью и замкнутостью жизни. Для нерусской жизни и язык потребен не русский.

— Спасибо, Жуковский! — встал и поклонился другу Андрей Тургенев. — Мы все это знаем. Но это нужно было сказать вслух. И сказано.

Поднялся Мерзляков.

— Господа! Жуковский прав. Выдуманная жизнь, чужой язык, а ежели свой, так тоже выдуманный. Кто нынче кумир просвещенной публики — Карамзин! Язык его чист, но разве это язык нашего народа? Язык Карамзина — еще одна условность жизни аристократов. Язык класса умеющих читать по-немецки, по-французски... Язык Карамзина — такой же знак для своих, как поглаживание подбородка масонами.

— Жуковский! — осенило младшего Тургене-

ва. — Вы помните, что говорил нам Баккаревич? Он говорил нам: русский язык по своему строю, по своей мелодичности близок к языку как раз Гомера. Он говорил нам: славянские языки, но более всего русский, близкая родня древнегреческому. И еще: русские обычаи проливают свет на темное и непонятное в древнегреческих текстах.

— Братец, милый! — Андрей Тургенев просиял. — Друзья мои, я слушал вас, и мне открылось: самое дорогое в нашем заседании — это восхищение природной нашей речью. Никогда нелишне говорить любимой о любви. Я верю: восхищение родным языком угнездится в глубинах наших сердец, и на эту любовь ответ всем нам станет любовь. Любящих любят. Любовь русского языка ко всем нам был бы дар бесценный...

— Господа! Господа! — У Кайсарова на глазах сверкали слезы. — Господа, я люблю вас всех! Будем живы правдой, господа. Будем живы русским словом.

Поднялся Воейков.

— Я бит, но однако ж вопрос о высоком в поэзии не есть праздный. Что до Карамзина, он ведь сам называет свои сочинения «безделками».

— Какие же это безделки? — глаза Жуковского снова вспыхнули. — «Если я не нахожу для себя хорошей пищи, то с самым прекрасным вкусом могу ли наслаждаться?.. Крестьянин, живущий в темной смрадной избе... не может найти много удовольствия в жизни». Это ведь Карамзин! «Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное платье наряжались, ходили своєю походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу, то есть говорили как думали». И это Карамзин.

— У меня есть глава «Писем русского путешественника». Разумеется, запрещенная цензурой, — сказал Воейков.

Главу прочитали. Прозаический перевод стихотворения Рабле, в коем современные читатели усмотрели предсказание о французской революции, прочитали дважды.

«Объявляю всем, кто хочет знать, что не далее как в следующую зиму увидим во Франции злодеев, которые явно будут развращать людей вся-

кого состояния и посорят друзей с друзьями, родных с родными. Дерзкий сын не побойится восстать против отца своего, и раб против господина так, что в самой чудесной истории не найдем примеров подобного раздора, волнения и мятежа. Тогда нечестивые, вероломные сравняются властью с добрыми, тогда глупая чернь будет давать законы и бессмысленные сядут на место судей. О страшный, гибельный потоп! Потоп, говорю, ибо земля освободится от сего бедствия не иначе как упившись кровию».

— Истинная поэзия — вещунья! — сказал Андрей Тургенев.

— Но ведь это страшно! — вырвалось у Жуковского.

— А ты помни об этом. — Мерзляков посмотрел на своего соседа серьезно и, кажется, сочувствуя.

Воейков выскочил из-за стола:

— Свершилось, господа! Сегодня, 12 января 1801 года. Наш Союз благословила сама Та-тиана-мученица, а под ее молитвой — все молодое, все даровитое на сим белом свете! Господа! Стол накрыт, прошу отобедать.

Поднялись.

— Отечество! — негромко сказал Мерзляков.

— Отечество! — ответили ему члены дружеского общества.

## СУДЬБОЮ УГНЕТЕННЫЕ

Василий Андреевич очень даже понимал нелепость поведения своего. Из Соляной конторы он мчался домой, стало быть, к Юшковым, облачался во фрак и — вприпрыжку к другим родственникам, к Вельяминовым. Даже самые дорогие гости, если всякая мера исчерпана, становятся обузой. Но что он мог поделать с собой? Перестал летать — и только. Теперь он волокся в сторону заветного особняка, заманивая себя туда и сюда, решительно поворачивал восвояси, всякий раз оказываясь перед дверьми, за которыми его ждали.

Он знал: его не гонят отсюда не потому только, что он родственник — дядя Марии Николаевне. Ничтожность его положения столь очевидна, что он есть, а все равно будто его нет. Ну

где же несуществующему скомпрометировать девицу на выданье. Всем ведь всё известно. Жуковский — сын суки, хуже того, рабыни, и ладно бы немец или француз — полутурок! За Жуковским ни гроша, ни пяди земли. Се — человек без будущего. Разве что до коллежского асессора дослужится. Да и этого много. По слухам, поведения самого неразумного. Такие орлики титулярных советников получают перед самой отставкой.

Но ведь и пастухи бросают сердца к ногам принцесс и королев.

Василий Андреевич любил Марию Николаевну не по-родственному, но уж столь высоко, что слияние на земле с возлюбленной было для него невыносимо. Душа рвалась в просторы вечности, к любви, от которой не дети, а свет.

Кружа по Москве, чтобы не явиться к Вельяминовым слишком рано, очутился он на Кузнецком мосту и как раз перед книжной лавкой Платона Бекетова.

Бекетов — гордость московской аристократии. Свою типографию он завел в пику купеческим, пораженным всеядностью, отсутствием вкуса, но все понимали: пика острием направлена в иное — в тиранию Павла! Ничего предосудительного, упаси боже — политического — Бекетов не издавал, но вызовом казался сам поиск даровитостей. Вот и Василий Андреевич получил письменное приглашение посетить книжную лавку на Кузнецком. Визит он откладывал со дня на день: робость ела поедом. Со знаменитостями, как с красавицами, — ног под собой не чуешь, а в голове — пробка.

Однако ж время надо было убить, дотронулся рукою до двери, а дверь и распахнись! К изумлению Василия Андреевича, Бекетов опередил служителя, ходившего наверх с докладом:

— Жуковский! Я вас заждался. Читал «Мальчика у ручья», в журналах читал...

Провел в кабинет, открыл тотчас папки с гравюрами.

— Будем издавать «Пантеон российских писателей». В два тома, я это вижу, не уложимся. Николай Михайлович Карамзин обещал сделать подписи под портретами. Вот посмотрите: Иван Иванович Дмитриев. Только что принесли... — Радостью веяло от Бекетова. — Жуковс-

кий, ваш портрет тоже будет надобен. А где же рукопись? Мы хоть сегодня готовы издавать ваши сочинения.

С Бекетовым было как с Мерзляковым, с Тургеневыми. Василий Андреевич развел руками:

— Коли собрать в одно мои стихи и прозу — книги не получится. Хочу сделать много, а на бумаге выходит мало.

— Вы отменный переводчик! Я бы сказал даже, толкователь и соавтор того же Коцебу. Выбирайте для перевода по своему вкусу любое сочинение, пусть даже многотомное.

— Флорианов «Дон Кишот», — тотчас назвал Жуковский.

— Великолепно! Для молодого сочинителя такая работа равносильна курсу Сорбонны. «Дон Кишот» достоин издания самого превосходного, с гравюрами, с портретом Серванта. С богом, Жуковский! Вы начинаете с великого!

Веселый сердцем предстал Василий Андреевич перед Марией Николаевной. Она ждала его. Платье голубее незабудок. Его любимое. Голубое к голубым.

Мария Николаевна смутилась под его взглядом.

— Ты истинная Бунина.

Она взяла его за руки, усадила в кресло. Василий Андреевич тотчас поднялся.

— Я принес обещанное: новые стихи Карамзина.

Достал с груди листок.

*Страсть нежных кротких душ,  
судьбою угнетенных,  
Несчастных счастье и сладость огорченных...*

В нем закипели благодарные слезы, вся его жизнь в этих двух строках.

— Господи! — прошептала Мария Николаевна. — Ты уже знаешь...

— Что я знаю?! — изумился Василий Андреевич.

— Помнишь игры наши в Мишенском... Как же я любила Гюона, хотя он был совсем дитя...

— Гюона?

— Ах, Васенька! Я поныне люблю единственного моего рыцаря... Гюона, Гюона! — Мария Николаевна закрыла лицо ладонями.

Василий Андреевич заметался по комнате.

— Тебе принести воды?

— Какой воды? Какой воды! Васенька, меня просватали. Я невеста господина Свечина. Человека достойного, небедного. Сразу после свадьбы мы уезжаем в Петербург.

Будто в люстре одну свечу оставили.

— Васенька, что с тобой?!

Он и сам не мог понять, что с ним, но тут распахнулась дверь в столовую.

— Николай Иванович приглашает, господа!

— Сегодня у нас семушка! — Вельяминов был само радушие и хлебосољство. — А всё наша сольца, любезнейший Василий Андреевич. Печерская семушка, отменнейшая.

Семга розовая, в перламутре. Во рту тает.

— Ты, Василий Андреевич, к начальнику-то, к Николаю Ефимовичу, по-сыновьи бы. Ты к нему по-сыновьи, он — отечески. Для аристократов Мясоедов — холоп. Знаешь, какое у него прозвище-то?

— Не знаю, Николай Иванович.

— Пресмыкающееся животное! — Вельяминов хохотнул, подвигая Василию Андреевичу судок с икрой. — Каков засол!.. Прозвище подлое, да капиталец знатен. Николай Ефимович дома на золоте кушает... О Копиеве слышали?

Мария Николаевна, трепетавшая за Василия Андреевича — как бы не взорвался от назиданий, — нарочито пожала плечами.

— Кто же он таков, Копиев?

— Пример молодым. Как беречь себя надобно, от шалостей-то, от гордынюшки. Алексей Данилович сын пензенского губернатора, в Измайловском полку служил... Острослов, писатель. «Лебедянская ярмарка», «Бабы сплетни» — это все его. Прыткий был молодец. За шуточки-то снесли бы с него макушку по самое голомя, да он в свите Платона Зубова почитался за шалопая первейшего... Однако ж довеселился. Представил немецкий мундир, введенный Павлом Петровичем, — скоморошьим. Государь-то и повелел ему явиться в сем мундире пред очи свои. Из кабинета — солдатом в Финляндию отправился... Да у государя-то у нашего сердце золотое. Узнал, что бедный солдат влюбился без памяти в дочь помещицы тамошней, а солдату какая любовь? Так вернул Павел-то Петрович

офицерский чин беспутному. Поумнеет, чай. Задатку дерет дырку, а задор прореху рвет.

— А что за слово «голомя»? — спросил Жуковский.

— Я ему пример для жизни, а ему слово дорого. Голомя — ну, как сказать, бревно без сучьев.

Суп был с какими-то немыслимыми фрикадельками, бекасов подали, трюфеля.

Николай Иванович кушал с наслаждением.

Жуковский не мог не смотреть на это обожание даров умелой жизни, а на Марию Николаевну уже и глаз не смел поднять: видел только руки ее.

— Екатерина-то Афанасьевна вроде бы воспряла, — сказал Николай Иванович. — Усадьбу собирается строить.

— Она считает, что у девочек ее должен быть свой дом.

— Прекрасная женщина... У Буниных все красавицы и красавцы. Протасов был ей пара. Солидный человек. Просвещенный. Впрочем, где просвещение, там и дьявол. Бабка Андрея Ивановича уж больно о здоровье рабов своих пеклась. Обдирала как липу, а здоровье — подавай. Так ради нее мужиков румянили да белили, чтоб кровь с молоком.

— Я возьму себе в пример Алексея Андреевича Аракчеева, — нежданно ни для Николая Ивановича, ни для Марии Николаевны обронил Жуковский. Разразилась тишина. — Аракчеев из подполковников скакнул в генерал-майоры, получил Анненскую ленту, две тысячи душ. А там уж он комендант Петербурга, генерал-квартирмейстер, командир Преображенского полка.

— Не умничай! — Николай Иванович нахмурился. — Аракчеев в опале, а об опальных говорить — только беду кликать. Мы, Василий Андреевич, люди махонькие — это я про себя, нам на государя издали поглядеть счастье. Не токмо в покоях, в приемных-то царских не бывать. Не артачься, голубчик! Не артачься. Ты хоть Мясоедову-то научись угодить.

— Спину вывихну, но научусь! — весело сказал Жуковский.

Мария Николаевна закрыла лицо руками.

— Ради того, чтоб расстаться с нищенством, вывихнутая спина — не ахти большая плата, — серьезно сказал Вельяминов.

Ночью Жуковский плакал, читая Томаса Грея, его «Элегию, написанную на сельском кладбище».

Утром он сел за перевод «Дон Кишота».

## «РАЗРУШЕНИЕ ВАВИЛОНА»

— Господь сжалился над Россией. Тиранин заколочен в гроб! — Андрей Тургенев обнял Жуковского. — Всякий русский человек нынче сорвал с себя немецкий мундирчик, сию тираническую обузу. Мы четыре года — от сенатора до последнего крепостного мужика — были солдатчиной.

Они собрались у Тургеневых не сговариваясь.

— Ночь 11 марта 1801 года стала благословенной для России, но боже мой, смерть человека воспринимается как счастье! — Андрей летал по библиотеке, лицо его пылало.

— Не от человека мы избавились, — сказал Мерзляков, удобно устроившийся в глубоком кресле. — Мы свободны нынче от безумного самовластья. Император Александр за единый день опустошил Петропавловскую крепость! Это лучший из указов со дня восшествия Романовых на престол. Толпы невинно пострадавших генералов и всякого рода чиновников возвращены в службу. Говорят, претерпевших от Павла более двенадцати тысяч.

— А вы заметили, как переменялась улица? — спросил Жуковский.

— Улица?! — не понял Андрей.

— Покуда я шел к вам, на Моховую, на одной Пречистенке встретил не менее двух дюжин цилиндров, а сапоги — так у всех с отворотами.

— Жуковский! — Андрей в ладоши ударил. — Карамзин-то опять платок на шею повязал. Он приходил к нам вчера, но я только теперь понял... Мелочные запреты бедного Павла нарушены. Свобода, господа!

— Вот я и предлагаю во имя нашего общего освобождения, — Мерзляков вытянул ноги, скрестил пальцы на животе...

— Не томи! — воскликнул Андрей.

— Во имя освобождения от уз духовных, — Алексей Федорович улыбнулся во всю ширь лица своего, — собрать и напечатать книгу трех



известных вам авторов. «М.Ж.Т.» — имя сей книги: Мерзляков, Жуковский, Тургенев.

— Но, может быть, и другие члены «Дружеского союза» пожелают дать свои стихи? — озадачился Жуковский.

— Это наша старая задумка, — возразил Мерзляков. — Ни у Кайсарова, ни у его братьев, посещающих наши заседания, ни у Воейкова не наберется и трех-четырех достойных творений.

— Поэзия — не проходной двор! — сдвинул брови Тургенев. — Мы сами должны отобрать самое совершенное, что у нас есть. Я начал элегию.

— По Томасу Грею? — спросил Жуковский.

— Ты провидец. Моя элегия навеяна Руссо и, разумеется, «Сельским кладбищем» Грея, но, господи, смею тешить себя надеждой — это русская поэзия.

Прочитал:

*Угрюмой Осени мертвящая рука  
Уныние и мрак повсюду разливают,  
Холодный, бурный ветер поля опустошает,  
И грозно пенится ревущая река.  
Где тени мирные доселе простирались,  
Беспечной радости где песни раздавались —  
Поблекшие леса в безмолвии стоят,  
Туманы стелются над долом, над холмами,  
Где сосны древние задумчиво шумят  
Усопших поселян над мирными гробами.  
Где все вокруг меня глубокий сон тягчит,  
Лишь колокол ночной один вдали звучит...*

Тургенев читал медлительно, звучно выговаривая слова, подражая колокольному погребальному звону, но вот голос помчался вслед за рифмами, накатывая поэтические волны на внимающих:

*Но вы, несчастные, гонимые Судьбою,  
Вы, кои в мире сем простилися навек...*

— Я показывал элегию Карамзину. Его подсказки замечательно точны, все слабости он увидел, но более указывал сильные строки. Жуковский, Николай Михайлович просил привести тебя. Он читал твои стихи... Ведь вы же скоро станете родственниками. Николай Михайлович женится на Протасовой.

— Тут не родство, свойственность. Протасова — моя сводная сестра.

— Приглашение Карамзина — орденка в петличку. Лыщу себя надеждой: теперь и мне есть что показать Карамзину. — Мерзляков положил перед собою тетрадь. — Плод бессонных ночей... Однако ж не гордыня ли дерет голову вверх?

— Читай, Алексей, — Тургенев сказал это просто, но от слов его стало уютнее.

— «Ода на разрушение Вавилона». — Мерзляков посмотрел на Андрея, на Василия, отчаянная веселость была в его глазах. — Как в прорубь, господи.

Махнул рукою по-ямщицки:

*Свершилось. Нет его. Сей град,  
Гроза и трепет для вселенной,  
Величья памятник надменный,  
Упал!.. Еще вдали горят  
Остатки роскоши полмертвой.  
Тиран погиб тиранства жертвой,  
Замолк торжеств и славы клич,  
Ярем позорный прекратился,  
Железный скиптр переломился,  
И сокрушен народов бич!*

— Остановись! — Андрей подбежал к Мерзлякову, обнял. — Прочитай это еще раз. И еще!.. Жуковский, ты смотри, смотри! Пред нами не увалень из пермской берлоги, се — поэт, сумевший списать руны со скрижалей времени.

— Господи, я уж дальше, — смутился Алексей Федорович. — Тут все о том же.

*Таков Егова, царь побед!  
Таков предвечной правды мститель!  
Скончался в муках наш мучитель,  
Иссякло море наших бед.*

— Слава тебе, слава! — крикнул Андрей.

*Воскресла радость, мир блаженный,  
Подвигнулся Ливан священный,  
Главу подъямет к небесам;  
В восторге кедры встрепетали:  
«Ты умер наконец, — вещали, —  
Теперь чего страшиться нам?»*

Все это было о Павле, умершем скоропостижно, а по страшным, по тайным шептаниям — удушенном в новом замке своем. Говорят, Зимний дворец, ненавидя в нем обилие света и саму память о матери, почивший властелин собирался превратить в солдатскую казарму.

Мерзляков читал пламенную оду покашливая, покряхтывая, со странным недоумением в глазах, будто читал чужое, неожиданное.

*Ты не взял ничего с собою,  
Как тень, исчезло пред тобою  
Волшебство льстивых, светлых дней.  
Ты в жизнь копил себе мученье,  
Твой дом есть ночь, твой одр — гниенье,  
Покров — кипящий рой червей!*

Когда же Мерзляков прочитал:

*Не се ли ужас наших дней?  
Не се ли варварской десницей  
Соделан целый мир темницей,  
Жилищем глада, бед, скорбей? —*

Андрей снова вскочил, отобрал тетрадь и сам дочитал оду. Строки: «Своей земли опустошитель, народа своего гонитель» Андрей скандировал трижды и трижды завершающие строки:

*И — кто удержит гром разжженный,  
Кто с богом брани в брань пойдет?*

(Окончание следует)



**Владислав Анатольевич БАХРЕВСКИЙ —**

прозаик, поэт, детский писатель, драматург, публицист, критик.

Родился в 1936 г. в Воронеже.

Окончил педагогический институт в Орехово-Зуеве.

Автор более ста книг для взрослых и детей.

Первая его книга — «Мальчик с Веселого» — была издана в 1960 г.

Наиболее известны его исторические романы: «Василий Шуйский», «Смута»,

«Тишайший», «Никон», «Аввакум», «Страстотерпцы» и др.

Многие произведения писателя адресованы детям:

«Дядюшка Шорох и шуршавы», повести «Агей», «Голубые луга», «Скиф и грек»,

«Кипрей-Польхань», «Солдат-орешек», «Повелитель пампы» и т.д.

Лауреат премии Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и юношества (1968),

Всероссийской премии «Капитанская дочка» (1997),

премии им. Александра Грина (2005),

литературной премии журнала «Север» (2013) и др.

Член Союза писателей России с 1967 г.

